

ЮНОСТЬ



УЧРЕДИТЕЛЬ:
АНП «Реданция журнала
«Юность»»

«ЮНОСТЬ» —
зарегистрированный
товарный знак.
Правообладатель —
АНП «Реданция журнала
«Юность»»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Сергей Александрович
Шаргунов

Выпуск издания
осуществляется
при финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати и массовым
коммуникациям

Лиц. Минпечати № 112.
ISSN 0132-2036

Наша почта:
unost-org@mail.ru

Наш сайт:
unost.org
юность.рф
Мы в социальных сетях:
facebook.com/unost
vk.com/zhurnaliunost
Instagram/@zhurnaliunost

Адрес редакции:
125047, Москва,
ул. 1-я Тверская-Ямская,
д. 8, стр. 1

Для почтовых отправок:
125047, Москва,
а/я 182, «Юность»

Тел.: +7 (499) 251-31-22,
+7 (499) 250-40-74,
+7 (495) 250-40-95

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ:

Ильдар Абузяров
Зоя Богуславская
Алексей Варламов
Анна Гедымин
Сергей Гловюк
Борис Евсеев
Тамара Жирмунская
Елена Исаева
Владимир Ностров
Нина Краснова
Татьяна Нузовлева
Евгений Лесин
Юрий Полянов
Георгий Пряхин
Елена Сазанович
Александр Соколов
Борис Тарасов
Елена Тахо-Годи
Игорь Шайтанов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей Шаргунов
Вячеслав Ионовалов
Яна Нухлиева
Евгений Сафронов
Татьяна Соловьева
Светлана Шипицина

РЕДАКТОР-КОРРЕКТОР

Юлия Сысоева
РАЗРАБОТКА МАНЕТА
Наталья Агапова
ВЕРСТКА

Наталья Горяченнова
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Антон Шипицин
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Людмила Литвинова

Подписные индексы:
каталог «Почта России» —
П1972,
объединенный каталог
«Пресса России» — 71120

Реданция не имеет
возможности вести
переписку с авторами.
Рукописи

не рецензируются
и не возвращаются.

Авторы несут
ответственность
за достоверность
предоставленных
материалов.

Мнения автора
и редакции могут
не совпадать.
При перепечатке
материалов ссылка
на журнал «Юность»
обязательна

Отпечатано
в ООО «Типография
«Миттель пресс»

Москва,
ул. Руставели, д. 14, стр. 6.

Тел./факс:
+7 (495) 619-08-30,
+7 (495) 647-01-89
E-mail: mittelpress@mail.ru

Тираж 3500 экз.
Формат: 60×84/8
Заназ №

«ЮНОСТЬ»
© С.Красауснас. 1962 г.

На 1-й странице обложки
рисунок Енатирины
Горбачёвой «Пиннин»

- 4 СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ
 «ВСЯКОЕ СЛОВО ПОДНЯТЬ К СВЕТУ,
 НАК ЯБЛОЧНО»

ТЕМА НОМЕРА: МУЗЫКА

- 20 АНТОН СОЯ
 АЛЕКС ОГОЛТЕЛЫЙ
 ТАЛАНТЛИВЫЙ КОТ МАЙН
- 30 АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ
 НОГДА МЫ НЕ БЫЛИ МЕЙНСТРИМОМ
- 41 ЕВГЕНИЯ МАТЫКОВА
 РИТМ
 ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА
- 54 АНДРЕЙ ЦУНСКИЙ
 СКАЗКА О РЫЦАРЯХ

ПОЭЗИЯ

- 72 ВАДИМ МЕСЯЦ
- 77 ИГОРЬ МАЛЫШЕВ
- 80 МИХАИЛ РАНТОВИЧ

ПРОЗА

- 84 АННА МАТВЕЕВА
ПОСЛЕ ЖИЗНИ
- 94 САША НИКОЛАЕНКО
ОТЕЦ
- 102 ТАТЬЯНА ЗАЛУНИНА
ОНКАМА ПОРЕЗАЛСЯ БРИТВОЙ
- 107 ГЕОРГИЙ ПРЯХИН
КРАСНАЯ ЗОНА
- 116 ЕКАТЕРИНА БЕЛОУСОВА
СВЕТ И ТЕНИ
- 119 АЛЕКСАНДРА РОМАНЫЧЕВА
ДВЕ МИНУТЫ
- 121 АЛЕКСАНДРА БРУЙ
КРАСНЫЕ ВОРОТА
- 124 НИНА ГОРСКАЯ
ЗОЯ ЗНАЧИТ «ЖИЗНЬ»

ЗОИЛ

- 132 СТЕФАНИЯ ДАНИЛОВА
«ПОСЕЛОК НА РЕКЕ ОРЕДЕЖ» А. ГРИГОРЯН
И «НА ПОСЛЕДНЕЙ ПАРТЕ» М. ХАЛАШИ —
ДВОЙНЯШНИ?

«ВСЯКОЕ СЛОВО ПОДНЯТЬ К СВЕТУ, КАК ЯБЛОЧКО»

ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВИЧА КУРБАТОВА



СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ

Он нес цветы жене, упал и умер. На улице Пскова.

«Сережа – на всякий случай. Если я откину копыта (отброшу коньки) – как весело приветствует уход русский человек...» «Помня о земных сроках своего бытия (что-то все чаще стал заглядывать “туда”), на всякий случай подсказываю...» Это из последних его посланий. Любое его как бы будничное письмо по мейлу было красочным, трепещущим, переполненным мыслями и чувствами.

Он всегда носил с собой толстую тетрадь, куда просил оставить запись, хотя бы в несколько слов, то одного, то другого, и меня тоже. «Чтобы перечитывать долгими зимними вечерами». Казалось, эта тетрадь, подобная полевому букету, волшебным образом не кончалась, но, видимо, вслед за одной появлялась следующая. У него был какой-то природный нюх на слово. Он был блаженно алчущим правды, выраженной словесно.

*В граде Пскове иноку крылатому
Валентину Яковлевичу Курбатову.
Волчьим нюхом обоняя слово,
ночью прилетает он из Пскова
и пешком гуляет по Москве.
А крыло он прячет в рукаве.*

Стихи поэта его поколения Игоря Шкляревского.

Курбатов написал более двадцати книг о русской литературе, предисловия к собраниям сочинений Виктора Астафьева и Валентина Распутина, которых пытался примирить в 90-е, к сочинениям таких разных Булата Окуджавы и Владимира Личутина.

В день его смерти я впервые прочитал его стихотворение, совсем простое вроде бы, но какое-то очень настоящее, и захотелось заплакать:

*Стоит под звездами старик,
Небесный свод благословляет.
Над ним крест Лебедя летит
И Млечный Путь в тумане тает...*

*Роса жжет ноги старика.
Комар звенит, а он не слышит.
Душа его теперь легка,
И сам он будто выше, выше.*

*И нет ему ни дней, ни лет,
Порядок времени забылся.
Стоял старик. Стоял – и нет.
А в избу мальчик воротился.*

И еще, на помин его души, с особым вниманием перечитал рассказы его друзей, те, о которых он мне нежно говорил, – «Ясным ли днем» и «Гори, гори ясно» Астафьева и «Избу» Распутина.

В нашем разговоре он многое рассказал о своем пути. До шести лет жил в землянке. Отец был совсем неграмотным, у мамы – два класса сельской школы. Курбатов работал столяром, служил на Северном флоте. Перебравшись в Псков, подвизался грузчиком на чулочной фабрике и корректором районной газеты. А получился изысканный мыслитель, тонкий знаток и толкователь литературы.

Защитник памятников старины, соратник псковских подвижников: иконописцев, музейщиков, архитекторов, реставраторов... Совестьливый и благоговейный хранитель огня русской Античности – «деревенской прозы». Ее больше не будет. Потому что ее нельзя подделать. Она ушла вместе с его друзьями.

Он замечал изобилие новых ярких и красивых, но будто пластмассовых текстов, и ему не хватало в литературе живой души, трудной глубины, страдания, сострадания.

Вспоминаю, как Валентин Яковлевич хрустит на солнечной веранде розоватым яблоком и наборматывает что-то благородно-возвышенное и вместе с тем пронзительно-меткое; как сажаем и поливаем с ним низкие юные яблоньки в Ясной Поляне; как в Никольском-Вяземском он обнимает, прижимаясь щекой, легендарный дуб Болконского и, озорничая, пытается вскарабкаться, цепляясь за крепкую и выпуклую, похожую на рыцарские доспехи, кору...

Это был необычайно трогательный человек.

Он чем-то напоминал миссионера – празднично-плутоватый, артистичный, но осмысленно сосредоточенный, с седой ровной челкой, обычно в черном сюртуке, с жестким белым воротом под горлом. Его молодцеватая стать, острый взгляд голубого глаза, уверенные элегантные движения – все оставляло впечатление личности, захваченной таинственной сверхзадачей. Мастер экспромта, он был тем, кого следовало не только читать, но и слушать и рассматривать.

Велеречивый проповедник сердечности.

Эта речь, льющаяся свободно, как песня, петляла в живых, непрерывных поисках.

«Нужно носить в себе еще хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду», – вспоминался Ницше, когда я слушал Курбатова. В его щедрых словах было что-то стихийное, страстное, поэтическое, интуитивное, как бы ницшеанское. Но только в жажде человеческого совершенства он оказывался, скорее, Анти-Ницше. Румянясь, как сказочное яблочко, звал к любви, братству, прощению, жертве.



Недаром экзистенциалистское «Ад – это другие» у нас так часто превращалось в благодатное самоотречение, сладость приятия чего-то большего, чем ты: «Другие – это рай».

Он был одарен с избытком светлым великодушием, детской доверчивостью миру. Пытался примирить разные эпохи. Нет, не оправдывая жестокость и нечестие, а как-то иначе. Так почва ласково обнимает жертв, палачей, воинов. Их кости и черепа – это бесчисленные, невидимые простому глазу звезды в глубокой темени. Почвенники мысленно помещают себя рядом с неживыми предками, держат ум во сырой земле. Для кого-то такое нерассудочное согласие с трагичностью истории – признак *темноты*, мифологического сумеречного потустороннего сознания. Для кого-то – основа смиренного крестьянского христианства.

Несомненный друг народа, он верил в его прекрасную душу.

Как-то в Михайловском после пошловатого костюмированного праздника, уже в застолье, сообщил:

– А мне здесь одна девочка вон какую частушку спела:

*Не дай, Господи, никóму
На кобыле борновать!
Хвост подымя, рот разиня –
Вся Маньчжурия видать...*

И, промурлыкав эти загадочные глаголы, победно обвел всех сияющим взглядом, мол, знай наших.

– Да вы это придумали, – догадался кто-то.

Но он лишь посмеивался мягким смехом, поглаживая седую бороду и блестя глазами мальчишки.

– Валентин Яковлевич, а когда вы поняли, что книги важны для вас?

– Дедушка мой ничем, кроме Псалтири, не жил.

Родился я в маленьком городке Салаван тогда Куйбышевской области, это поселочек с одной картонной фабрикой. Матушка у меня была путевым обходчиком. И родился я, можно сказать, в будке путевого обходчика. Очень трудно рождался. Ну родился, значит, уже живу в землянке с дедушкой, потому что папенька уехал строить на Урал заводы как рабочий, его в трудармию призвали, а маменька и я остались у дедушки. А дедушка раскулаченный из-за того, что у него наемная рабочая сила – тринадцать его детей, спавших вповалку на полу. Дом отняли, но из деревни не выгнали, милосердие еще оставалось какое-то. И он остался жить в погребе, в леднике, где обычно хранят продукты. Сделал там окошечки горизонтальные крошечные, поставил печечку, и я до семи лет прожил в этой землянке. И выучился читать по Псалтири, потому что дедушка ничего, кроме молитвы, не читывал.

– По старинным книгам?

– Я когда пришел в школу, филькину грамоту, без «еров» и «ятей», мне было довольно трудно усвоить сначала, и это было очень смешно.

– Что чаще всего вспоминается из детства?

– Самое нежное воспоминание – мне, наверное, лет пять, я уже стерегу колхозное поле подсолнухов, гоняю ворон... Возвращаюсь после гоняния ворон, неся под мышкою круг подсолнуха, напевая и панически боясь петуха. Здоровенный петух такой, я бегал от него сломя голову. А он нет-нет догонит и повалит.

И самое трогательное – я стою рядом с мамой, она встречает поезда, идущие на фронт. Все на фронт, через этот маленький переезд, под Ульяновском. Она со своим флажком, а я с обломком подсолнуха, и мне из открытых вагонов бросают солдаты кто звездочку, кто кусочек сахара, кто гильзу. Сохранить бы эту коллекцию... Я был дитем всей армии, общим ребенком всего этого идущего на фронт человечества.

Ну а потом, в 1947-м, мы уехали к отцу на Урал на стройку в город Чусовой, и там уж я обитал до самого флота. А я ведь еще собирался в артисты, в художественную самодеятельность, играл в пьесе «Красный галстук» Михалкова, в «Двух капитанах» Каверина, ну, здорово играл, в школе читал пионерские новости дикторским голосом. И куда же? Только в артисты после этого всего. Попытался в «Щуку», провалился в первый же день. Во ВГИК осмелился подать. Прихожу на экзамен, почему-то выпадает мне первым очередь начинать, отвечать, сидят и принимают Сергей Аполлинариевич Герасимов и Тамара Федоровна Макарова. «Ну что у вас, юноша?» Я говорю: «Максим Горький». Ну они сразу поняли, раз Горький, значит, парень-то ого-го, с Немировичем-Данченко у него и с Константином Сергеевичем все завязано навсегда. «Песня о буре-вестнике». Как начал кричать «Песню о буре-вестнике», ну тогда шел фильм «Сказание о земле Сибирской», и как Дружников там: «Над седой равниной моря ветер тучи собирает...» – «Ты чего разорался? – говорит Герасимов. – Ты хоть отойди к подоконнику, встань вот там, у косяка двери, и опиши мне это море». Я пошел, встал, начал описывать, уже без пафоса... «Ну можешь же. А спеть что-нибудь?» Я ему спел немедленно песню. «А сплясать?» Матросский танец «Яблочко». Сразу на третий тур, даже второй пропуская. Это главный уже, профессиональный.

Но я от стыда пошел и забрал документы... Не знаю, почему. И ушел на биржу актеров. В саду Баумана сидят режиссеры, а мимо них ходят актеры с лицами довольно независимыми, но у каждого в папочке то портрет Гамлета, которого он играл когда-то, то Офелии... А мне показать нечего, кроме ослепительно голубого пиджака, который я взял у мальчика со студии Довженко, жившего

вместе со мной в общежитии. Небесной голубизны пиджак, нестерпимо сияющий, совершенно... И в этом прогуливаюсь. Наконец какой-то старик седой говорит: «Иди! Чего можешь?» Я говорю: «Все». – «Давай тогда». Я ему басню Крылова: «Ворона и Лисица», потом спел, сплясал. Договор тотчас же был подписан с театром Балтийского флота. «У вас есть перспективы, юноша, я дерзая вас взять». Лечу в родной Чусовой, усталым перстами стучу в окошко Кларе Финогеновне Мартинелли, гречанке, которая учила меня в самодеятельности, и говорю усталым голосом уже Шмаги, провинциального актера, подержанного: «Сначала на выходах, потом посмотрим, перспективы есть...» Прихожу домой, а там повестка лежит на флот. Я метнулся к военкому: «Что же вы делаете? Я подписал договор с театром Балтийского флота!» – «К сожалению, молодой человек, на флоте позарез нужны не артисты, а радиотелеграфисты». Так и загремел и служил четыре с половиной года на Северном флоте, на крейсерах «Василий Чапаев» и «Александр Невский».

Крейсер – это довольно большое сооружение, без малого 600 человек. Своя газета выходила «На боевом посту». Я подвизался наборщиком в этой газете. Каждую буковку в так называемую верстатку вкладываешь. Каждая запятая отдельно... Складываю это все, радио постоянно включено, и вдруг голос всем знакомый и родной: «Работают все радиостанции Советского Союза. Сегодня, 12 апреля 1961 года...» – и как только сказал «в космосе» и «Гагарин», я отбросил эту верстатку, она полетела, засверкали эти буквы, кувыряясь, запятые, точки, рассыпались по всей корабельной типографии, и вылетел на палубу. А корабль идет к Новой Земле, море кругом. И остальные выбежали, такие же сумасшедшие, глаза вытаращены у всех. А деть куда этот восторг? В Москву-то вышел на Красную площадь, и ликование, а тут некуда деться.

Кажется, последнее было, правда, потрясение. То есть когда мы действительно были народом. Последний раз 12 апреля мы были единым народом. Это был взлет какой-то, все мы взлетели, все мы были в космосе в этот день...

А в корабельной библиотеке меня спас Камю, «Миф о Сизифе», когда уже сил не было служить. Я вдруг понял, что закатываю камень, который упадет сразу, завтра же скатится вниз. Но я с тем же спокойным лицом говорю: «Ребята, вы меня не возьмете. Пусть он упадет. А я сейчас подниму и еще погляжу вам в лицо». И стал так отважен, и так счастливо дослужил, формируя библиотеку.

Михаил Кураев, прозаик из Петербурга, служил после меня там уже, на том же крейсере. «Какая там была библиотека...» Я говорю: «Миленский мой, библиотекарь сидит перед тобой. Я доставал тебе все, что можно, все, все». И выпускал газету «Искусство и мы». И читал вслух своим товарищам, морякам, книжку Владимира Николаевича Турбина, преподавателя Московского университета, воспитанника Михаила Михайловича Бахтина, которая называлась «Товарищ время и товарищ искусство». И там была такая мысль, потрясавшая новизной: иллюстрации к Толстому, к «Войне и миру», Пикассо же должен, конечно, делать, потому что Наташа лепечет о Пьере: «Тот синий, темно-синий с красным, и он четверугольный...»

Я ночи напролет читал в библиотеке. Часто даже на утреннюю поверку объявляли по громкоговорящей связи: «Старшему матросу Курбатову подняться на подъем флага». А я-то спал, после ночных мятелей в библиотеке. Быстрее, быстрее, бескозырка надета, все, взлетаю... «Так что вчера вам сказали господа Камю с Сартром? – спрашивает старший помощник, замечательный капитан первого ранга. – Потом зайдешь ко мне, о Гогене поговорим». Это 1961–1962 годы...

А однажды в библиотеку часа в три вломились начальник особого отдела и замполит. Немедленно меня на дыбу, на ковер. Но обнаружили, что парень уж очень хочет, чтобы все было в России передовое, высокое и самое умное,

и этот капитан особого отдела так проникся нежностью, что начал снабжать меня запрещенными книжками, которые они успевали где-то изымать, издательства «Посев» и так далее...

– **Помните свой первый текст на суше?**

– Демобилизовался, и первую заметку написал в газете «Комсомолец Заполярья». Там на развороте эпиграф был из поэта Николая Грибачева: «На всех фронтах даем сегодня бой». А я дал бой в своей заметке Сальвадору Дали, Джексону Поллоку, Хуану Миро, Джорджо де Кирико... Дал прикурить ребятам. Если бы они читали газету «Комсомолец Заполярья», у них бы кисти выпали из рук, но не читали, подлецы, поэтому остались художниками. А сегодня говорят: «Как тебе не стыдно? Ты создаешься в этом». Я говорю: «Миленькие, я бы и сейчас написал то же самое, только умнее, потому что любви у меня к ним не прибавилось».

– **Но при этом видите Пикассо иллюстратором «Войны и мира»... А как вы попали в Псков?**

– Случайно совершенно. Один мальчик на флоте попросил: «У меня бабушка, больше никого нет. Мне еще три года служить, помогите бабушке чем-нибудь». И я поехал в Псков, встретился с бабушкой, поселился у нее, бабушка оказалась замечательная.

Правда, через год я от нее сбежал, потому что каждый день она мне рассказывала, как видела Ленина в 1922 году, в одних и тех же словах. Потом, когда я познакомился с Виктором Борисовичем Шкловским в Переделкине, он тоже начал рассказывать о Ленине. Я говорю: «Я почти знаю, как это...»

– **А что говорил Шкловский?**

– Шкловский меня совершенно пленил. «Владимир Ильич выступал перед нами, перед нашим бронедивизионом, на машине с открытыми этими...» – «Бортами», – ему подсказываю. Пренебрег: «С открытыми крыльями... Он обращался налево, обращался направо, он никогда не падал с площадки, у него было поразительное чувство пространства!» Я запомнил эту черту Ленина: ни разу не упал, хотя обращался налево и направо. Чувство пространства. Виктор Борисович, как дитя малое, восхитился.

– **Итак, вы совсем случайно стали псковитянином...**

– И вся жизнь в Пскове, хотя не знал и не думал, что так суждено. Устроился корректором в районную газету. Целых 50 рублей была зарплата, 25 за квартиру платил и на остальные 25 курил папиросы «Казбек», был независим, легок. Понял, что не вытяну, пошел грузчиком на чулочную фабрику, а там аж 65 рублей давали. И писал все время заметки в газете «Молодой ленинец», поскольку любил театр самозабвенно. «Валентин Курбатов, комсомолец» подписывался. Все понимали, что тут, брат, не забалуешь, тут взгляд строгий. Однажды редактор вызвал и говорит: «А что если комсомолец Курбатов у нас поработает в штате?» Я говорю: «У меня, извините, образование-то 10 классов». – «А это ничего, мы потом догоним». И я устроился в газету на целых уже 115 рублей. Ну а потом во ВГИК на заочное пришел.

– **Больше с Герасимовым не пересекались?**

– Ну а как же. История любит все-таки сюжеты... Я уже окончил ВГИК, прошли годы, и челябинское издательство вдруг заказывает мне книжку о Сергее Аполлинариевиче, потому что он из тех мест. Я звоню Тамаре Федоровне, она, естественно, меня не помнит и не знает, иду к ней на свидание, они жили в гостинице «Украина». Первое, что вижу в квартире в прихожей, – Тамара Федоровна и Сергей Аполлинариевич в роли Софьи Андреевны и Льва Николаевича. Огромная фотография в рост. Я захожу и говорю: «Ой, Софья Андреевна, а у меня для вас неожиданный подарок. Вот такая книжка: критик Стасов. Какую низость

он про вас написал... Вы помните, он приезжал к вам в 1904 году? И видите, пакость какую написал, что слуги нечесанные, в уборной отвратительно, и есть ли в доме хозяйка?» Она меня чуть не убила. Потом говорю: «Простите, Софья Андреевна». Она тогда засмеялась, сразу поняла, что мы оба заигрались немножко. Засмеялась, книжку эту отдал. Первое, что я увидел в гостиной, – это аквариум, наверное, литров на тридцать, и в нем лепестки роз, подаренных Тамаре Федоровне. Этот безобразный мавзолей славы...

А Сергей Аполлинариевич мне понравился. Вот о нем бы я написал с нежностью, но испугался Тамары Федоровны, не стал. У него была высокая порода. Он был не из тех, кто прогибается. Все, что он делал в кинематографе, было полностью лишено суеты...

– Да, «Лев Толстой» – его последняя работа. Съемки были в Ясной Поляне, и он, игравший Толстого, лег в гроб, будто репетируя свою смерть. И вот теперь вы заговорили о нем здесь, в Ясной Поляне. И рядом с нами на веранде сидит моя жена Настя, прапраправнучка Льва Николаевича, а между тем Сергей Аполлинариевич – мой двоюродный дед... И я ребенком успел познакомиться с ним в той квартире в гостинице «Украина».

– Как все складывается, однако, Сережа! Все поразительно связано со всем!

– Вы как-то признались, что недолюбливали, когда вас называли «критик». И все же из чего родились ваши работы о литературе?

– Мы переписывались с Турбиным еще во флотские времена, и он в «Молодой гвардии» нет-нет цитировал меня, какие-то разные штучки. «Приезжайте давайте наконец, и мы с вами запируем на просторе». Вначале после демобилизации я приехал к нему, на Каланчевку, и там жил в стареньком доме, на проваленном диване. Но он меня погубил, дав мне прочитать книжку Павла Николаевича Медведева «Формальный метод в литературоведении», которая на самом деле написана Бахтиным Михаилом Михайловичем, но тот оттого, что находился в лагере, учеником подписался, чтобы она была просто в природе. Настолько мощная, сильная, блистательная, что я прочитал и сбежал с этого диванчика, как и с третьего тура. Сбежал, потому что понял, что я никогда не смогу так написать.

А Турбин, конечно, уговаривал одуматься: «Не надо, что же вы делаете со своей жизнью!»

– Одумались? Стали критиком?

– Грешный человек, я себя им и не считаю, как не считаю себя и писателем, простите Христа ради. Ну никак не могу привыкнуть, все время я думаю: о ком это? Кого это так представили? Серьезность не выработаю никак.

– А кем вы себя ощущаете и осознаете?

– Скорее, ну не знаю, просто вот человеком, которому интересно думать об этом мире. Думать с жадностью и ненасытностью, вот эта отроческая, детская черта сохранилась.

Я говорю, что умру, не получив паспорта. Мне четырнадцать не исполнится, когда я умру.

Потому что все это подростковое желание увидеть, насладиться, воскликнуть – это не критика, а это попытка разделить мысль тотчас же с другими, со всеми поделиться.

«Да, ребята, я прочитал вчера такое, сейчас я вам расскажу!» – и жадно хватая цитаты, начать... Это, скорее, эссеизм в европейском, наверное, понимании, когда важнее оценки книги параллельное существование в этом тексте в жизни.

И ты все время вторгаешься в мир, и в тебе больше жизни, чем текста. Потому меня сегодня так ранит, что литература перестала иметь отношение к жизни,

перестала быть жизнью, а стала только текстом. Мне просто тексты анализировать скучно, хочется, чтобы в них вставали рассветы, падали туманы, бежали животные, лаяли собаки, пели петухи... А они теперь этого не делают!

Литература большого стиля, как можно назвать сегодня, – Астафьев, Распутин, Белов, Абрамов – были именами общенациональными. Ими можно было переключаться в ночи, этими именами. Все знали, о чем идет речь... О той мощной земной идее, которая там была. Эта земная идея держала мир да и нас, грешных. И я понемногу, вот так свела судьба, начал писать о них, постепенно о том, другом, третьем, четвертом. И начал складываться и сам.

– С кем вы дружили из писателей?

– Больше общались мы с Виктором Петровичем Астафьевым, в котором меня сама жизнь пленяла. Одна переписка у нас почти тридцать лет занимает, из этого возникла книжка «Крест бесконечный».

Дружил я с Юрием Нагибиным – ветреник, озорник, красавец, шутник, стилист, все на свете.

Владимир Николаевич Лакшин, с которым в Изборске мы залезали на крепостные стены, и он выдыхал: «Ах!», потому что вся Россия перед нами открывалась сразу, а я подтрунивал: «Ну вы же художник, найдите властный глагол для определения. Тут и Распутин говорил: “Ах!” У всех одно и то же, они что, не знают глаголов никаких?»

Александр Михайлович Борщаговский. Это была высокая школа. Его слух, его чутье театрального пространства... Я жил у него, когда приезжал в Москву.

От каждого, от каждого цветка понемногу...

Но чаще всего обращаюсь к Валентину Григорьевичу Распутину.

– Почему именно к нему?

– У него было то исповедное существование в литературе, которым более никто не владел. Ни одного мимолетно, случайно сказанного слова, недодуманной мысли, нигде, никогда. Молчалив, взвешен, терпелив, каждое слово как служение.

– Таинственное явление.

– Да, и таким и оставшийся для меня... Он же умер, Валентин Григорьевич, потому что умер тот народ, который он писал, ему дальше писать было нечего. Он попробовал было понять новый. Появился рассказ «Новая профессия» о каком-то мальчике, устраивающем свадьбу, есть профессия такая. Попытался заглянуть в этот мир хоть как-то. Но видно, что писал, как будто шел на цыпочках по толченому стеклу, выбирал слова, потому что это не его. Попробовал он описать метафизическую часть: «Что передать вороне?», «Наташа», но тоже не совсем его тон был. Фактически закончил он в 99-м «Избою», рассказом, повторением «Матеры» фактически. Он вернулся все-таки в то пространство, которое было его сердцу ближе всего.

– По-моему, «цыпочки» – это вообще про него. У него был бисерный почерк.

– Микробный почерк, не бисерный – микробный. У него из одной рукописной страницы получалось двенадцать машинописных страниц!

Я первый раз увидел: лежит листок, и полоски такие тоненькие. Я говорю: «А это что?» – «Рукопись, а что?» Я пригляделся: «Матушки, что тогда сумасшедшим домом-то называется, если вот это рукопись?» Там ничего разобрать нельзя, полосочки тоненькие. Японскими тончайшими карандашами. С четырехкратной лупой я только мог читать. А он писал сверху еще более микробно. А перепечатывал сам все рукописи – кто же, ни одна сумасшедшая машинистка за это не возьмется. Я говорю: «Валя, что с глазами?» – «А что с глазами? Вот, бывало, – говорит, – приду на берег Ангары, – а Ангара, извините, пошире Москвы-реки, – читаю на той стороне: “Куплю, сдается, продам”». Специально

нарочно едет на трамвае четыре остановки, и с той стороны читает: «Куплю, сдается, продам». Зрение было! И в прозе – тончайшее, взвешенное, выверенное до миллиметра.

Вот астафьевский почерк корявый, всякий, перевальный, похож на повести, на описание, чуть косноязычное временами.

– Стихия, как в «Царь-рыбе», захватывает, клокочет.

– Ну он одноглазый же был, потому и почерк...

– Вы ведь жили с Астафьевым в одном городе?

– Да, в Чусовом. И я знал, что Витька-то Астафьев работает в «Чусовском рабочем», за пивом ходит. «Ха-ха, Астафьев, писатель». Прошли годы, и Астафьеву пятьдесят, он зовет на юбилей псковского писателя Юрия Николаевича Куранова: блистательный был стилист, теперь забытый раз и навсегда.

– Я читал. Очень лиричная проза.

– «Давай поедем, тебе писатель-то Астафьев неинтересен, а вот на Вологду хоть поглядишь». В тех краях тогда Астафьев жил. Приехали в Вологду, выходим из вагона, Виктор Петрович здоровается с Курановым, а единственным глазом глядит на меня: «Не тебя ли это, брат, я видел году в 1947-м в Чусовом собирающим окурки у железной дороги?» Я чуть не умер. Я на флоте вырос на двенадцать сантиметров, а так был самый маленький в классе. И вот за бороденкой найти, опознать, увидеть семилетнего мальчика, собирающего окурки в городе Чусовом. Я говорю: «Юра, дай мне прочитать что-нибудь этого мужика немедленно, сейчас же». Он мне дал рассказ «Ясным ли днем». Рассказа такой пронзительной силы и сейчас еще нет в литературе. Я обрелся над ним...

– Чистый и сильный рассказ...

– Утром пришел, повалился в ноги, говорю: «Не погуби, Виктор Петрович, так мог и прочваниться чусовским своим высокомерием». – «Я еще лучше могу. Учить вас, дураков!» И с той поры уже не разлучались.

Это был 1974-й, начало мая, а 25-го числа я уже приехал в деревню Сибла, где он жил. Договорились о встрече, 70 километров на попутной машине, иду себе, напеваю, счастливый. «Ну сейчас, – думаю, – выпьем, посидим с Виктором Петровичем, обнимемся». Прихожу, на двери вот такой замок висит. Договорились, называется. И сейчас же, как в кинематографе или в театре – дождь раз! – ливнем, и старушка соткалась из воздуха: «Ой, сынок, ты к Петровичу приехал? А он искренно собрался и уехал». Я говорю: «Хорошенькая искренность». «Искренно собрался и уехал. Но обещал завтра с утра быть. Ты пойдем ко мне, пока вот у меня побудешь». Пришли, она говорит: «Петровича давно видал?» Полезла за божницу, и там у нее уже зеркало стоит вместо Спасителя, но в красном углу, вытащила газетку «Харовский рабочий», отвратительный портрет Виктора Петровича, жеванный какой-то, на первой полосе, газета как из опилок сделана. «Вот, – говорит, – ты ночевать-то у меня, сынок, не сможешь, я девушка, извини меня, хоть и восемьдесят два года, мало ли чего скажут, у нас деревня маленькая, я тебя к Петьке-механизатору свожу». Пошел к Петьке-механизатору. Только вошли, Петька говорит: «Петровича давно видал?» Полез за зеркало и достал «Харовский рабочий» с этим же портретом. Завтра, говорит, приедет. Ну действительно, назавтра приезжает Виктор Петрович, обнялись. Ну а «искренно» – это «экстренно» оказалось. Он ей сказал: «Экстренно мне надо». Экстренно собрался и уехал. Ну и сели тут уже, обнялись, и он начал читать мне один из лучших своих рассказов, «Гори-гори ясно», из детской серии рассказов его, о девочке, которая первый раз является в его жизни там на берегу. И воспоминания, конечно, ошеломляющие. Он в кужайчонке греется, кашляет без конца этими сожженными на войне легкими. Потом ему пырнули ножом за газетку в «Чусовском рабочем», пробили эти же легкие...

– За что?

– А в газетку критическую заметку написал. Подстерегли на улице и пырнули за правду.

– И Распутина по голове били.

– Да, били... Но вроде как грабители за джинсы, которые ему кто-то привез, он сам-то ни во что не наряжался, а кто-то подарок ему сделал.

– Вы сохранили общение с Астафьевым уже после его разрыва в отношениях с ближайшими друзьями.

– Я измучился с этим больше всех. Сколько, сколько на него кричал!

– Говорят, вы почти заставили его переписать одну книгу.

– «Печальный детектив» он показал мне в рукописи, и я говорю: «Виктор Петрович, жизнь все-таки дама милосердная... Захотите удавиться, мало ли чего, жизнь к краю подошла, и петлю начнете накидывать на шею – обязательно котенок подойдет Барсик, потрется о штанину, или девчонка засмеется за окном, упадет солнечный луч, Господь скажет: “Старик, ты куда? Подожди!”» А у вас, смотрю, матушки мои, котенка нет, девчонка не засмеялась, солнечный луч не упал. Что же вы делаете?» – «Вот найду бабу, женский характер, она у меня все там озарит и все вспыхнет, и увидишь...» Бабу не нашел, а напечатать напечатал. Потому что редактор «Октября» Ананьев, опытный человек, понимая, что двигается мир в черную сторону, жадно кинулся, извлек и тотчас напечатал. Я пишу: «Что же вы делаете, Виктор Петрович? Баба-то где?» Замолчал вдруг, хотя переписка все время была... Молчок.

А незадолго перед этим он пишет: «Ты все бороденкой пол в церкви метешь, а предисловие-то к Мельникову-Печерскому заказали мне, а не тебе». Говорю: «Как вам не стыдно?» – «Чего такого?» – «Так Мельников-Печерский – это же не просто православное христианство, это старообрядчество. Удвоенная сложность. Как же вы дерзнули согласиться-то на это, церковного порога не переступая?» – «Ну тогда сделаем так: ты напишешь предисловие, я матюги только расставлю для национального колорита, а подпишемся вместе». И тут вот поругались из-за «Печального детектива», и я получаю записку: «Раз уж мы договорились, прошу предоставить свою часть текста». Я пишу ему: «Виктор Петрович, как же вы не могли догадаться, что мне написать вам укоризненное письмо было тысячу раз труднее, чем вам его прочитать при моей любви к вам, при высочайшем уважении? У меня каменело перо от отчаяния, пока я писал, что ну нельзя нарушать правила жизни...» – «Ладно, приезжай, разберемся».

Я прилетел в Красноярск, приезжаю в Овсянку. Виктор Петрович в огороде картошку копает. Ведро переставляет, пот вытирает, в куфайке, клубни стучат. «О!..» Вышел, обнялись, люди потому что кругом. Говорим громко, смеемся картинно, чтобы не выдавать. Выпадает свободная минута: «Виктор Петрович, пойдем на берег Енисея и перестанем говорить громко и смеяться картинно, возьмем чекушку и перестанем». – «Возьмем, пойдем». Мы пошли, и в общем, выяснили все... Развязали эти узлы, поняли, что настоящей драмы мировоззренческой не происходит, и через полчаса с речки, с Енисея уже раздавалось пение. Его Мария Семеновна глядит в окно с тревогой: «Че там мужики пошли на берег?» и слышит: «Глухой неведомой тайго-ою»... Мы возвращаемся обнявшись уже, она понимает, что все... И вечером она мне говорит: «Картошку-то выкопали мы с теткой Анной, а это для тебя были оставлены четыре куста. Он как услышал: “Едет!” – и куфайку на себя...»

– Чтобы доказать, что от земли не оторвался?

– Вот вы, шелкоперы, катаетесь взад-вперед, вам слова только, а мужик для вас картошочки добывал... Театр одного актера для одного зрителя.

А сложно было, когда в его последних вещах, тех же «Проклятых и убитых», этот мат пошел. Я все писал ему: «Виктор Петрович, мат не имеет права на письменное существование».

– Почему?

– Всякий раз, когда ты видишь его на стене, тебя ранит, просто по глазам бритвою полощет, потому что Кирилл и Мефодий азбуки для мата не написали, у него азбуки нет. Он устного бывания предмет. Он только в устной ситуации, когда что-то случается, и ты вот так кричишь, это вне тебя. А когда ты написал это все, ты включаешь элемент тиражирования того, что единично. И вот в книжке написать матерные слова, тиражировать то, что существовало один раз и в одно мгновение – это нарушение правила просто вот...

И Евгений Иванович Носов девятнадцать страниц мелким почерком исписал: «Виктор, ты чего же делаешь? Мы что, с тобой в разных армиях служили? – А оба рядовые. – Ты что позволяешь, что Толстой не делает? Или он на другой войне был, что позволял себе этого не употреблять? Что ребята тогда не употребляли вот таких глаголов, в севастопольской кампании, может, еще порешительнее?» Ну Виктор Петрович надулся сразу: нет, Женька-друг ничего не понимает. «Как говорили мы тогда, так и пишу».

Я часто пытался выгораживать его, защищать... Однажды в 90-е в прямом эфире одного патриотического радио осмеливался рядом с Львом Николаевичем помянуть военное прошлое Виктора Петровича и его прозу. Началась такая свистопляска... Звонки: «Да как вы смеете... Этого предателя, эту фашистскую сволочь...» Я говорю: «Ребятки, какая жалость, что я не вижу вас, а только слышу. Вот если бы видел, с каким лицом вы это произносите».

А надо было видеть и Виктора Петровича, когда пойдет себе в баньку в прохладную, – в жаркую нельзя, сердце большое, – и там живого места нет, все тело истерзано, взорвано... Значит, выплакано какое-то право на то, чтобы это говорить.

Можем не соглашаться, но, видно, надо было переболеть этой частью правды, она должна была быть выговорена.

А он сам уже писал в одном из писем мне: «Какой я писатель? Назьма лопата». «Назём», навоз – сам себя... «Назьма лопата», но, добавлял, что эта «назьма лопата» в каком-нибудь огороде кому-нибудь пригодится когда-нибудь в грядущем. Он, может, не будет повторять ошибок, но вырастет из этого...

– Астафьев, хотя, как считалось, и перешел в «либеральный лагерь», костерил своих как бы единомышленников грубо и непolitкорректно, вполне в духе тех «патриотических сил», с которыми вроде бы разорвал.

– Конечно, вот как ни странно...

– Он ведь очень сильно страдал?

– Да, да, да. Мальчик, детдомовец в нем жил все время, детдомовцев бывших не бывает, это неизживаемая болезнь. И детдомовец все время защищается, тырится все время.

– Тырится?

– Тырится, ну пялится так и заводится, на калган берет. «Я тебе как дам...» И большевиков на дух не переносил всех на свете до обобщения безобразного, которого нельзя было позволять себе. «Вон у нас, – говорит, – за огородом вон там жили засранцы...» Они для него все по именам, он обобщенного понятия не знал, он знал «вот этого дурака», «вот этого подлеца», Катька Петрова, Юрка Болтухин...

Живу у него в Овсянке, и он вдруг говорит: «Ну поехали, съездим, навестим». Мы едем к тетке его Августе, слепая тетка, одна живет. Сын в тюрьме. Тут Ле-

нин, тут Никола Чудотворец, все вместе в одном красном углу, вырезки из газеты. Чугунки двигает слепая совершенно. Я пытаюсь помочь, сразу он мне по рукам как даст! «Гуманист херов, иди отсюда! Тоже мне... Она перепутает там чугунки-то. Если хочешь оставаться, оставайся и живи с ней постоянно, если разом, извините, вы с вашим гуманизмом...» Ну она криком кричит: «Помру одна, найдут по запаху, сколько можно, Витя...» Мы выходим, я говорю: «Ну вы хоть бы утешили, сказали что-нибудь». – «Что я, этим глаголом детей ее из тюрьмы вытащу или от одиночества ее избавлю? Выкричится, и пусть, и хорошо, и сейчас ей будет полегче, она вырвалась, и ладно. Наорала на меня там, наплакалась, сейчас полегче».

Потом едем к деду Карпо. Дед Карпо умирает от рака. И тоже говорит: «Витька, ну пристрели, Христа ради, ну сдохну же, разлагаюсь». И тоже кричит, а тот ничего, сидит, слушает. Уходим, тоже ни слова утешения, ничего. «Ну что я, – говорит, – могу сделать? Рак. От рака я его не избавлю, слова все будут бессмысленны, он знает бессмысленность слов. Ну рядом посидели, за руку подержал». Вот.

Поехали к матушке его, к мачехе, которую все дети родные бросили. Виктор Петрович, который молотком в нее пускал в двенадцать лет, хорошо, не убил, он один за ней приглядывает, все бросили. И вот он берет на себя все страдания, они же никуда не деваются... И крик этой тетки, этого деда Карпо, этой мачехи, все в его сердце. Все страдания там.

Помню, в Овсянке увидел, у него висит фрак, туфли, говорю: «О, бабушка там, наверное, порадовалась, думала, Витька-то у меня по тюрьмам сгниет, а оказывается, вон какую лопотину себе справил!» Спрашиваю: «Для бабушки ведь шил, не для себя же?» Он говорит: «Да, для бабушки Екатерины Петровны...»

– **Как вы пришли в Церковь?**

– Это странный такой путь, кроме того, что выучился читать по Псалтири. Приехали в Чусовой, матушка все время в церкви. Вот она привела меня на Рождество, мне уже девять лет, ночная служба. Так сел, так, потом на коленочки, потом присел на задницу, простите, потом брякнулся, башкой об пол треснул, проснулся: «А, батюшки православные, в церкви я заснул». Заснул, ударился, проснулся православным. *(Смеется.)* Ну и, в общем, ходил-то уже пореже, и неудобно было, мы же пионеры, нельзя, доглядывают, но крестик был зашит у меня в школьной тужурке и даже под пионерским галстуком.

– **Даже у меня был крестик зашит на уроках физкультуры.**

– А я все время так и носил этот крестик, вот. А будучи на флоте, естественно, церковного порога не переступал. В Пскове иду в Троицкий собор, стою всенощную, тогда служил келейник Сергия Страгородского митрополит Иоанн Разумов. Владыка так крест дает: бабушка, бабушка, бабушка, через мою голову следующей бабушке. На следующей, через год, пасхальной службе опять иду к кресту уже деревянными ногами, и тот же владыка: «Зовут как?» Залез в подрясник, вытащил служебную просфору: «На, и смотри у меня!» Что он там прочитал во мне, не знаю, но это был самый первый знак прозорливости. «Смотри у меня!» Через год я его хоронил, он был здоровенный, вот с этот стол размером, у него и плечи такие же... В катафалк нельзя было поместить гроб, пришлось на бок класть, чтобы довезти. Новый приехал митрополит впоследствии, Санкт-Петербургский и Ладужский Владимир. Секретарь идет: «Пропустите владыку». Старухи вот так держат, железные руки: «Наш владыка вот лежит». И не пускали, насильно просто раздвигали уже их руки, настолько было...

И вот я вел «Домашнюю церковь», передачу на псковском телевидении, даже общество сочинил, религиозно-философское, в продолжение тех бердяевских и соловьевских обществ.

– И, конечно, знаменитый иконописец архимандрит Зинов участвовал?

– Ну конечно. Но отец Зинов, он чихать на нас хотел, все-таки он государство самостоятельное. У меня есть книжка «Батюшки мои», она вся о нем. Я хотел написать сначала о всех батюшках, которых видел в жизни, с восклицательным знаком: «Батюшки мои!» С ужасом, с одной стороны, а с другой – с восхищением, а когда начал, понял, что, кроме отца Зинона, я написать никого не могу. Он вытеснил всех. И эта книжка целиком посвящена ему до последнего года, когда он меня просто прогнал вон, потому что я начал вмешиваться в жизнь Мирожского монастыря. Он выгонял навсегда сразу – самых близких. Я пытался их пригреть, кого-то обнять, его усовестить, он сказал: «Все, Божий дар не выдержит двоих. В монастыре должен быть один наместник. Прошу оставить». Все. Хотя до этого мы были неразлучны совершенно и служили вдвоем литургию, я и чтецом, и певцом. А он никогда не ленился послужить вдвоем. Проповедь, скажет, для одного...

– Ваше отношение к отечественному XX веку менялось?

– Я действительно советский человек. Дитя этой советской страны, что совмещается с Церковью. Даже первое поколение коммунистов для меня – это те, у кого было святое верование в устройство царства Божия на земле, готовые за это погибнуть. Хотя в партии не был, и не приглашали, все время какие-то дерзости писал, все время поперек. О кинематографе ли писал, о литературе ли, все – поперек.

Когда кончилось с советской властью, помощница нашего псковского секретаря по идеологии, уезжая в Израиль, передала мне большое количество доносов, на меня написанных, они скапливались все, на каждую мою газетную заметку.

Но при этом я оставался советским ребенком в самом чистом разумении, каким и сейчас остаюсь. И все еще думаю, чем же он был в самом деле, Советский Союз, столь нами поруганный и осмеянный. Этот период истории должно оглядеть в собственном сердце и найти ему подобающее, покойное, естественное место. Это твое собственное сердце, твоя часть истории.

– Личная биография? Как не выбирают родителей?

– Мы нажили этот период, он был почти неизбежен, закономерен, как движение стихии, природы, воды. Но не мы пренебрегли Союзом, а нас заставили пренебречь. Я вот даже смотрю, скажем, книги серии «ЖЗЛ», которая пытается зарастить эту рану человеческую, когда все книжки подряд поставишь и прочтешь. Здесь и ваша книга про Катаева. Слава Богу, эта работа делается и постепенно возвращает нам генетическую целостность.

– Но вы дружили с убежденными антисоветчиками-диссидентами?

– Мы с Леонидом Ивановичем Бородиным, прошедшим тюрьмы и лагеря, много об этом говорили. Я был в его лагере, где он сидел. Две кровати друг над другом, два метра на два, это невозможно, ты задыхаешься через две минуты. Никогда от него не слышал слова «камера». «В тесном помещении мы были вдвоем со своим товарищем и ненавидели друг друга за эту тесноту». Но у товарища оказалась «Анна Каренина», и они читали по одной главе, не больше, и полюбили друг друга очень нежно и сердечно.

Бородин был причастен к такому национально-освободительному движению, к заговору, и оставался человеком последовательным до конца. То, чего хотел Леонид Иванович – того самого царствия Божия, воплощения чистоты, и он был служителем этой чистоты до последнего часа. Леонидом Ивановичем можно было градусы измерения какие-то... единицу измерения в «Бородиных» ставить, такой это был чистоты человек...

Ну и многие те, кто на чужбине, в изгнании или добровольно уехали, они унесли с собой Россию, как улитки раковину на себе утащили, и они договари-

вают ее честнее, нежнее, чем мы здесь, на русском языке пишут чище, бережнее, а мы здесь все развеяли по ветру...

– А вы с Солженицыным общались?

– Прихожу на его премию, вручается Инне Лиснянской... А мы забились за фортепиано: Владимир Бондаренко, Владимир Личутин, Дмитрий Михайлович Балашов и я. Говорю: «Не бойся, малое стадо», и мы стоим там. Александр Исаевич, как воспитанный человек, идет с бокалом. Говорит с Вовкой Личутиным о его густопсовом языке, у Вовки же чревеса и утробы, у него же язык такой, что вообще страшно. Потом к Балашову, «XII век» там раздается... Ко мне направляется: «Отчество как?» Я говорю: «Что, остальное вам во мне совершенно известно все, если вы только отчество спрашиваете?» – «Не было бы известно, вас бы здесь не было», – так ласково сказал Александр Исаевич. Ну и дальше пошел уже разговор про критику: «Читал, где не совсем с вами соглашаюсь, с некоторым совсем не соглашусь, но вот уважения к вашему мнению все равно придерживаюсь». Он достал карандаш вот такой вот, меньше мизинца, и блокнотик меньше безымянного пальца, и этим карандашиком в этом блокнотике записал мое отчество. Я говорю: «Это в случае шмона, чтобы в парашу, и следа бы не было?» И у нас фотография есть очень смешная, Вовка Бондаренко снял. Солженицын меня держит за пуговицу, и оба хохочем, потому что... Попробуй рассмешить автора «Архипелага ГУЛАГа».

Александр Исаевич не проходит по части русской литературы, как Тургенев, Толстой, он в этот ряд не помещается, это новое совершенно качественно явление, свидетельские показания на Страшном суде России. «Вызывается свидетель Солженицын А. И., дело №4. Александр Исаевич...» и так далее... «Вопрос». И он отвечает по делу. Это дело, которое провел Александр Исаевич, том за томом, судебные показания, а не литература в старинном понимании. Почему я не любил «Матренин двор», грешный человек, и сейчас не люблю. Там есть какое-то странное обобщительное страдание русской женщины. По-моему, Виктор Петрович писал стократно глубже, и Валентин Григорьевич. В «Матренином дворе» есть тип русской женщины, старухи, ты чувствуешь обобщение, а у них все единственные, каждый единичен. Ну это недуг Александра Исаевича, у него все время чуть-чуть «итога». Итого! Итого! Итого! Ладно, Сережа, бросьте все, давайте забудем...

– Куда идет Россия?

– Сегодня мы стали однодневны и так стремительны, что у нас как будто нет позади истории и впереди ее нет. Мы живем только сегодняшним днем и тем кратким плоским мгновением, как фотография со вспышкой.

Я скорблю я из-за нарушаемой целостности, непоследовательности русской истории, что мы так капризно движемся и не можем найти себя. Сейчас люди устали. Не начерчен вектор. Вот почему на мать-Церковь нет-нет да покрикивают, что она словно сама забыла вертикаль и служит уже более горизонтали существования, скорее, политическим институтом являясь.

Вот и начинаешь страдать, потому что думаешь, что уходишь из жизни и оставляешь детям мир, в котором нет этой вертикали и ты сам ею не являешься. Может быть, самый мучительный период...

Мы жили от прадедов к дедам, от дедов к отцам, и это покойное существование наше нас чуть-чуть расслабило. Мы привыкли, что мы под защитой, и вдруг на тебе – в чистом поле, на сквозняках, и нам придется называть себя сначала.

Нам придется всякое слово поднять к свету, как яблочко, чтобы увидеть в нем зернышко, и каждое слово назвать с той глубиной и подлинностью, какое, словно мы в райском саду...

ТЕМА НОМЕРА: МУЗЫКА

АЛЕКС ОГОЛТЕЛЫЙ



АНТОН СОЯ

Родился в Ленинграде в 1967 году. Учился в Российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена на преподавателя биологии. Пел в панк-группе. Продюсировал разные рок-группы, в том числе «Бригадный подряд»,

«Мультфильмы» и «Нунры-нинсы». Издатель, рок-продюсер, поэт, автор текстов песен и писатель. Совместно с издательством «Азбука» собрал и выпустил авторскую антологию «Поэты Русского рока» в десяти томах. Автор двадцати восьми художественных книг.

Это – не признание в любви. Не претензия на истину. И не попытка очернения. Это просто хрен знает что – памяти Алекса Оголтелого. Изложенное ниже может оскорбить ваши нежные души. Рассказ основан на моих полустертых воспоминаниях, эмоциях и непроверенных фактах и никак не может считаться биографическим эссе. Тексты Оголтелого я тоже воспроизвел по памяти. Извините, если что.

В последние годы жизни Алекс Оголтелый (в миру Александр Львович Строгачев) напоминал безумную старушку-бомжа. Было две таких городских сумасшедших бабушки, встреча с которыми в центрах доставляла истинное удовольствие любому гурману-визуалу: Алекс и гениальный композитор Олег Каравайчук. Но композитор был приличной старушкой, а Алекс – бомжихой-клоунессой, только что выбравшейся из грязного подвала. Но в каком бы ужасном состоянии он ни находился, это несколько не влияло на бодрость его духа. Он был Джокером до Джокера, чертовым петрушкой и в жизни, и на сцене. Бешено дергающейся веселой марионеткой с вечно выпученными глазами и стоящими дыбом волосами, местами выбритыми, местами крашеными. В любом состоянии, под любыми препаратами при встрече Оголтелый моментально узнавал меня и тут же делился своими насущными новостями. Этот неутомимый чертик всегда либо записывал, либо только что записал «самый охренительный» альбом (песни

из которого а капелла могли быть тут же исполнены в парадняке, на Невском, или вестибюле метро), ну и, конечно, всегда был готов выпить с тобой по этому поводу. Ну а если ты не хотел выпить, можно было просто дать Алексу денег. Ну а как не дать такому красавцу.

Помню, как я увидел его в первый раз. Незабываемое зрелище. Мы были в гостях у одноклассницы Аньки Лавровой (учиться в школе оставалось полгода), и там же, в волшебной квартире на канале Грибоедова, где проживало третье поколение художников, одновременно с нами тусовалась безбашенная компания старшего брата именинницы – Феди. Он тоже раньше учился в нашей школе, но ему там стало очень скучно. Фебина творческая душа рвалась наружу, одноклассники не разделяли его музыкальных вкусов и свободолюбивых взглядов на жизнь, и в результате он оказался в другой школе, среди подобных изгоев. Там он познакомился с Резиновым Рикшетом и Юрой Скандалом, понял, что он панк, и стал Котом Бегемотом. Но самым ярким пятном на совести строителя коммунизма в этой компании был не Федька, не Ослик, и даже не Пиночет, а мелкий бес – Алекс Оголтелый. От него невозможно было отвести глаз. Ростом он был чуть выше крупного зайца и ни секунды не стоял на месте. Он сразу начинал общаться с тобой как с лучшим другом, хотя был явно старше лет

на пять, в то время это была настоящая пропасть, но только не для Алекса. Особо меня поразило, что на Алексе было надето три пары штанов! Три! Я в жизни больше не видел человека, скачущего по квартире в трех парах штанов. И мы скакали вместе с ним, зараженные его бешеной энергией и свободой, совершенно невозможными в 1983 году в стране, упорно строящей коммунизм из серых невзрачных кирпичиков.

Тогда я первый раз увидел живьем (а не в «Международной панораме») людей, нагло и безапелляционно называющих себя панками, советскими панками, черт их побери. Вслушайтесь только в эту адскую музыку слов. Хотя никакого бравоирования именно панк-стилем не было, Федькина компания называла себя по настроению то панками, то битничками, то какими-то загадочными «плютиками». Может, плютики взялись от знаменитых Карлсоновских «плюти-плюти-плют»? Они были похожи на родственников Карлсона: взрослые (для нас) люди, которые, нарочито идиотничая, бесились, как дети в детском саду. Они играли. Играли музыку, играли словами, играли со своим внешним видом, всеми силами пытались эпатировать, шокировать, расшевелить наше заскорузлое унылое болото. Больше всего они были похожи на перемещенных во времени футуристов и чинарей, и я думаю, что братья Бурлюки, Маяковский и Хармс со товарищи прекрасно влились бы в эту тусу. Но главное в них было не эпатаж, а творчество. Они писали песни и записывали их прямо на этой квартире. Посреди комнаты с ободранными обоями стояла барабанная установка, составленная из огромной замотанной скотчем «бочки» и разнообразного железа, там же жили комбики с самодельными электрогитарами, электроорган и раздолбанное пианино. На всем этом играли, не жалея рук и ушей, и комната наполнялась колдовством. Одно дело было слушать дома ужасного качества записи «Аквариума», «Кино» и «Зоопарка», и совсем другое – присутствовать, практически участвовать в шаманском обряде рождения новой песни. А для нас, желторотых школяров, все песни в тот вечер были новыми. Новыми, как и совсем неприемлемый комсомольцами анархический образ жизни, который к ним прилагался. Алекс в своих трех парах штанов и футболкой с самодельной надписью «Пора кончать» прыгал, доставая полуметровой крашеной челкой до потолка, и орал свои «Травы-муравы» или «Тут я обкакался», а я скакал рядом с ним, раскрыв рот от изумления, пуча глаза и еще не понимая, насколько серьезно мне в этот вечер снесло крышу.

Одну песню с того домашнего концерта я запомнил надолго. Ну скажите мне, что это не обэриутская поэзия:

*Я пошел на улицу – а-а.
И увидел курицу – а-а.
Я спросил у курицы – а-а.
Ты чего на улице.
Отвечала курица – а-а.
Я того на улице – а-а.
Что другие курицы,
А тоже все на улице!
Эх, курица – кукурюжица,
курюжица – просто кряжица!
Эх, курицу, да кукурюжицу,
Да курюжицу, да просто кряжицу!*

Вот такие это были кукурюжицыны дети.

Группа Алекса называлась «Народное ополчение», и в этом глумливом названии было больше правды, чем в названии одноименной улицы. Постоянного состава в коллективе не было. В группе собрались и ополчились против серости будней самые разные представители великого советского народа. Отпетые хулиганы, интеллигенты в третьем поколении, золотая молодежь и пролетарии с «Кировского завода», бездельники, тунеядцы, талантливые музыканты, играющие невообразимую смесь футуристических жанров, которую моя совесть сейчас ни к одному известному жанру отнести не позволит. Но они тогда считали, что это панк-рок. И мы, естественно, им верили. А что? Главное – это было нагло, весело, местами смешно и зажигательно. Чем не панк-рок? Жгло уши напалмом и выжигало мозг – настоящее народное ополчение. Концертов у них в те времена априори быть не могло. Да и само их существование выглядело эдакой временной нелепостью, недоглядом со стороны строгих властей. Кстати, о строгости. Фамилия у Алекса была Строгачев. На вопрос о национальности Алекс напористо отвечал «Да!», сразу снимая всякие сомнения. При этом определить на взгляд его национальную принадлежность было совершенно невозможно. Он и на человека-то был только слегка похож, какой-то лупоглазый мальчик-инопланетянин со старческим спившимся лицом, змеящейся улыбкой и синяками под глазами, порой с двойными.

Несчастный отец этого существа был подполковником ракетных войск и идейным коммунистом, мама Генриетта Ивановна работала инженером. Какое-то время в середине 80-х Алекс жил с родителями на севере, на улице Манчестерской (или рядом с ней) – еще б ему не играть в рок-н-ролл!

Оголтелый был настоящим, а не виртуальным троллем, и он обожал троллить представителей власти.

Ближайшее метро к нему было «Площадь мужества», которую циничные панки-пересмешники именовали не иначе как «Площадь мужеложества». Учась на первом курсе, я пару раз ездил к Алексу в гости и возил своих новых друзей посмотреть на это чудо света. Вспомнить эти совместные тусовки нет никакой возможности, настолько мы были постоянно вусмерть пьяные, но вот что я отлично помню, так это его отца, который, открыв нам дверь, каждый раз настойчиво, но напрасно пытался уберечь нас от общения с сыном.

– К Саше? Да вы знаете, кто он такой? Он... – Старик (тогда для нас любой человек за сорок) отчаянно потрясал в воздухе рукой со свернутой трубкой газетой «Правда». – Идите лучше отсюда поскорей.

Мы знали. Отец Алекса тоже знал и пытался нас спасти. Но было поздно. За его спиной нарисовывался лютей карлик-клоун, и мы с ним уносились в неведомые синие дали пропивать наши честные стипендии.

У Алекса было начальное медицинское образование. Одно время он работал санитаром, а может, даже фельдшером на скорой помощи. Недолгое, к счастью. Пока его с треском не выперли за то, что он пристрастился к баллонам с веселящим газом, служившим благим целям анестезии. Пока скорая мчалась на вызов, Алекс приводил себя в форму, тайком неоднократно припадая к вождельным баллонам. Выскакивал из машины, как резиновый мячик, с носилками под мышкой и шприцем в руке, он без всякого лифта обгонял врача и, врываясь в квартиру к пациентам, кричал что есть сил:

– Где больной? Кто больной?

Рассказывают, что некоторые старички и старушки при виде оголтелого санитаря, вращающего глазами, мгновенно выздоравливали. Но чудодейственного Алекса все равно уволили. Не уверен, правда, что это реальная история, а не байка, рассказанная Алексом или придуманная его многочисленными собутыльниками.

Таких баек – сотни. Реальность в жизни Алекса Оголтелого навсегда перепуталась с галлюцинациями. А что вы хотите от существа с диагнозом «маниакально-депрессивный психоз». Фельдшер Александр Львович Строгачев действительно работал в психиатрической лечебнице два через два. Его альтер эго – плютик Алекс Оголтелый – периодически лежало в качестве пациента в той же больнице. Вот вам и Чехов с палатой номер шесть.

Алекс был ходячим мемом, когда и слова тако-го не было в помине. Он стал городской легендой, и количество историй о его безобразиях – веселых и отвратительных – просто зашкаливает. Некоторые из них напоминают городской фольклор. Что-то типа историй про злобного веселого шута, вечно пьяного и вечно оставляющего с носом тупых ментов. Оголтелый был настоящим, а не виртуальным троллем, и он обожал троллить представителей власти. Вот, например, типичная история: сидит Алекс на поребрике перед рок-клубом. Подходит к нему мент, спрашивает:

– Ты чего сидишь на поребрике, рожа?

– А ты чего стоишь у поребрика, рожа? – отвечает Алекс и с диким хохотом убегает.

Мизансцена закончена.

Бегал Алекс, кстати, быстро. Говорил, что в детстве занимался легкой атлетикой. Может, и не врал. Но в любом случае от этого его умения зависела его выживаемость. Бегать ему приходилось часто: и от ментов, и от гопников, и от собутыльников. Иногда его догоняли и били. В случае с ментами очень помогли две вещи – психиатрический диагноз и удостоверение фельдшера из психушки. Особенно если они предъявлялись одновременно. Обычно Алекс отделялся побоями и вытрезвителем, реже – «сутками» (15 суток принудительных работ). Но частенько проказы сходили ему с рук. Мне больше всего нравится история про красного коня. Надеюсь, это был тот самый пластмассовый конь на колесиках, о котором я еще раз упомяну в своем рассказе. Так вот, в один теплый летний день моральные уроды во главе с Алексом украсили игрушечного коня воздушными шариками, положили сверху баклажку с портвейном и привязали к нему самодельный израильский флаг. И с таким вот нарядным конем они гурьбой тащились по Петроградке к Петропавловскому пляжу, пока их не остановил доблестный милиционер, чтобы выяснить, что это за хрень. Алекс, одетый в костюм-тройку двадцатых годов, купленный за трешку у старушки на Апрашке, выглядел на редкость внушительно. Тем более что костюм был на три размера ему велик.

Круглая металлическая оправа очков и пионерский галстук добавляли ему внушительности. Остальные отщепенцы тоже выглядели так, словно только что сбежали с арены цирка. Дедовские пиджачины, отцовские туфли с отбитыми каблуками, узкие галстучки, самодельные значки, крашенные шевелюры, наглые рожи в узеньких черных очках – в Рязани, откуда он недавно перебрался в Ленинград, таких зверюг не водилось.

– Так. Стоять. Кто вы такие и куда следуете?

– Ну вот и все! – радостно поприветствовал Алекса мента на своем птичьем языке. – Да ладно! Вы что, не знаете? Стыдно, товарищ сержант! Плютики не потерпят! Сегодня национальный еврейский праздник купания красного революционного коня. Вот так! Мы – евреи. Ведем коня купаться. Ясно?

Все было настолько нелепо, что страж растерялся. Плютики? Евреи? Коня? Милиционер дал слабину. Напористость Алекса заставила его на секунду замешкаться, засомневаться в себе. Раз они так нагло себя ведут, может, им, этим «плютикам», правда, разрешили. Праздник, все такое. Тем более что он уже точно когда-то что-то слышал про красного коня. Революционного! Стоит ли с ними связываться? Может, пропустить? И пока милиционер выходил из ступора, процессия невозмутимо двинулась дальше. Кузьма Сергеевич нервно ворочался в гробу. Акционизм в чистом виде, не правда ли?

Грустно, но в историях про Алекса отдельное большое место занимает туалетно-фекальная тема. Байки о том, как Алекс бросался своим говном (в портреты членов политбюро в школе, в прохожих, ментов и т. д.), я пересказывать не буду по двум причинам: мне это отвратительно и я с этой его стороной, к счастью, никогда лично не сталкивался. Если все это правда (а скорее всего, правда), то это наверняка связано с его психическим диагнозом – любой психиатр вам это подтвердит. Так что не знаю, было такое или не было, врать не хочу.

Зато я точно знаю, что Алекс был законченным клептоманом. Хотя в данном случае это нетактичное определение. Клептомания – болезнь, и больные страдают от нее, а Алекс был прожженным вором и совершенно не мучился совестью от этого. «Совесть – это грустная повесть, где страницы черные перемежаются с белыми», – писал в то время мой приятель панк-поэт Макс Васильев. Так вот, это не про Алекса. В его повести все страницы были белыми.

Помню, как они с Колей Михайловым притащили мне альбом Босха, как уверял Алекс – его Босха,

и втюхали мне за три рубля. Я очень уважал старину Босха. Но мне пришлось отдать его Саиду, Игорю Сайкину – первому барабанщику «Подряда», когда он с удивлением обнаружил своего Босха у меня на полке. К этому времени Алекс уже успел взять «почитать» у меня пару книжек и «послушать» пару дисков. Он вообще был меломаном и постоянно покупал-продавал диски, если не мог спереть. Замечательную историю про Алекса мне однажды рассказал Витя Сологуб (хотя, возможно, это был Гриня Сологуб, но точно один из двух братьев Сологубов), которому Джоанна Стингрей из Америки привезла как-то в подарок фирменную косуху. По случаю приезда Джоанны у Вити (или Грини) дома происходила грандиозная тусовка, на которой блистал и наш вертлявый лупоглазый герой. В один прекрасный момент Витя (или Гриня) решил похвастаться курткой – а ее и след простыл. Как так, все бросились ее искать. Но больше всех возмущался и активничал Алекс Оголтелый. Носился по квартире, как пограничная овчарка, разрывая шкафы и заглядывая во все углы, с подозрением поглядывал на гостей и советовал Вите (нет, наверное, все-таки Грине) обыскать их всех с пристрастием. Весь этот цирк продолжался, пока кто-то не заметил, что носится Алекс по квартире в своем всепогодном пальтишке. Под которым немедленно и была обнаружена пропавшая косуха. Конфуз-конфуз? Да, но конфуз, который никак не повлиял на отношение тусы к Алексу. Хуже относиться к нему уже было нельзя. Все знали, что он за фрукт.

Панкер рассказывает: бегут они втроем с Пиночетом и Алексом к автобусу. Авоська с бухлом в руках у Алекса. Панкер с Пиночетом заскакивают в икарус и держат раздвижные двери. Оголтелый запрыгивает на первую ступеньку, автобус трогается, друзья отпускают двери, Алекс выпрыгивает обратно на улицу, двери закрываются. Изумленные панки в отходящем автобусе с изумлением следят за убегающим товарищем. Алекс бежит вприпрыжку, размахивает авоськой и радостно кричит:

– Кидалово! Кидалово!

Такой уж это был клоун ада. Ничего другого от него и не ждали. Это же Оголтелый. Он жил на арене, превращая и свою, и чужие жизни в абсолютный дурдом. Его нельзя было уважать, тяжело любить, но не восхищаться его кипучей энергией и запредельной эксцентричностью порой тоже было сложно. Алекса никогда не посылали за бухлом, потому что он никогда не возвращался. А зачем? Схватить и убежать – это же весело. Веселье – это был единственный критерий, предъявляемый Алексом к жиз-

Совершенно
безнравственный
тип, поставивший
саморазрушение во главу
угла своей жизни, многие
поступки и слова которого
вызывали у меня полное
неприятие, брезгливость
и отторжение, – Алекс
в то же время умудрялся
оставаться смешным
и притягательным, как
опасная квинтэссенция
безграничной свободы
и безудержного веселья.

ни. И любые средства для достижения этого веселья считались приемлемыми. Алекс иногда выходил из дурдома, дурдом из Алекса – никогда. И свою жизнь, и свое творчество он полностью подчинил этому постулату. Выносит всех – так звучало определение любого удачного действия, и Оголтелого совершенно не смущало, что он при этом выглядел в глазах окружающих последним говном. Человек-говно стал одним из его амплуа. Да и человек ли он был вообще? Я очень сомневаюсь. Представьте себе гигантского человекообразного тушканчика или огромного лемура-долгопята, скачущего с выпученными глазами, – разве вы будете обижаться, что он у вас что-нибудь стащил или кидался фекалиями?

Так кем же он был: отвратительным подонком, бессовестным фриком, талантливым эксцентриком или чудаковатым харизматиком? И тем, и другим, и третьим, и четвертым. Совершенно безнравственный тип, поставивший саморазрушение во главу угла своей жизни, многие поступки и слова которого вызывали у меня полное неприятие, брезгливость и отторжение, – Алекс в то же время умудрялся оставаться смешным и притягательным, как опасная квинтэссенция безграничной свободы

и безудержного веселья. Он был как панк-песня: бодрый, коротким, брутальным, шокирующим произведением.

Все подонки хотели дружить с Алексом. Ну или хотя бы потусоваться с ним. Накурить Оголтелого. Выпить с ним.

Алекс любил выпить. Каждый, кто наливал ему, был Алексу друг. Но это не очень хорошо сказывалось на качестве записи песен. И однажды перфекционист и трезвенник Федя Бегемот запретил Алексу приходить на запись пьяным. Не пушу – и все тут. И что же? Алекс стал приходить кристально трезвым. Но вот какая странность. Федя стал замечать, что минут через десять после прихода Оголтелый – опять в дрова. Веселый, синий, поет и играет не в ноты, чем сам очень доволен. Но как же так? Оказывается, Алекс приходил к Федькиной квартире с бутылкой вина, винтом заливал ее прямо в горло и тут же звонил в дверь – так что заходил он еще трезвый, как стеклышко. Как Федя и просил. Ну что с таким находчивым плютиком можно было поделаться?

Как ни странно, у Алекса при всем при этом появилась семья. Какая-то жаба (любая девушка для битничков), по словам Бегемота, решила, что «круче плютика ей не найти» (согласен на сто процентов!!!), вышла за Оголтелого замуж и даже родила ему сына. Помню, как приезжал к Алексу в гости в Купчино на улицу Бель Куна, где он жил счастливой семьей с женой Мариной и сыном Никитой. Его сыну было годика два-три. Мальчик выехал мне навстречу в прихожую на красном пластмассовом коне на колесиках (том самом) и тут же неуклюже завалился вместе с ним набок.

Естественно, семейная идиллия Алекса просуществовала недолго, и он вернулся к своему дикому образу жизни. В начале десятых годов этого века я случайно нашел в сети фото сына Алекса – Никиты Строгачева. С нее на меня глядел мускулистый красавец. Окончил институт, не курит, не пьет. Так что все там в порядке, я надеюсь.

В 1987 году, в июне, я, младший сержант Советской армии, сбежал в самоволку на фестиваль Ленинградского рок-клуба, который проходил на сцене ЛДМ. Все было здорово. И «Ноль», и «Телевизор», и скандальное выступление Свињи. Но веселее всего было, когда какая-то сволочь на балконе в паузах между песнями голосом Левитана громогласно вещала:

– По товарищам картечью – огонь! Ур-ра!

И весь зал покатывался со смеху. Кто был этот шутник? Конечно, Алекс.

Перестройка подарила панкам сцену. И «Народное ополчение» стало полноценным гастролирующим коллективом. И не только по СССР. «Народное ополчение» на волне интереса к экзотическому советскому панку прокатилось с концертами по всей Европе – Швеция, Дания, Германия, большие фестивали и лучшие клубы. В группе тогда собрались отличные музыканты: Микшер, Снегирев, Мотя. С хорошими музыкантами неожиданно стало ясно, что у Алекса есть слух. Почти идеальный слух. Нот в его песнях было немного, но попадал он в них с ходу и в любом состоянии.

Оголтелый принарядился. Забросил свои мешковатые костюмы и кеды. Стал ходить в кожаных штанах, косухе и казаках. Набил себе татуировки у Лени Писи-Черепя. Ну, то есть стал настоящей кондовой рок-звездой. Помню Алекса во дворе рок-клуба с какой-то смешной, влюбленной в него шведкой. А как было не влюбиться в эти пятьдесят килограммов лупоглазого бешенства, скачущих зайчиком на сцене и бойко выпевающих на одной ноте:

*Тарарурам-пум-пам-парам,
у нас огромная страна!
Тарару-рам-пум-пам-парам,
поднимается она!*

Конец 80-х – расцвет русской панк-культуры, лучшие ее годы – «Гражданская оборона» Егора Дохлого, «Народное ополчение» Алекса Оголтелого, «Бригадный подряд» Коли Михайлова и Юры Соболева, «Автоматические удовлетворители» Свина, «Объект насмешек» Рикошета. Единственный, кто не вышел на сцену, был Федька-Кот Бегемот-Лавров. Его надолго сломали и испугали гэбэшники после их феерического, совместного с Алексом проекта под названием «Отдел самоискоренения» с песнями «Войны для воинов» и «Праздничек». Представьте себе андроповское время, людей вяжут на улицах просто за непохожий на общую серую массу вид (Алекса винтили почти каждый день, но отпускали – кому он нужен со своей справкой), а эти охреневшие чертилы распространяют магнитоальбомы с песнями про Рейгана и Андропова.

Совсем страх потеряли. Гонка вооружений им не нравится. Слава КПСС, комитетчики долго терпели. Может, им даже (как мне) нравились песни из прошлых альбомов Алекса, типа:

*Серая шинель
Догоняет меня.
Стоит – она кричит.
А то стрелять буду я!*

Или вот моя любимая:

*Звери добрые придут ко мне,
Чтобы рассказать мне о вине.
Кошка крикнет – мяу,
А собачка – вау.
А я им отвечу – аа-ау-ау-ау-ау.*

Может, они вообще были настоящими меломанами и ценителями панк-психоделии, эти комитетчики, и готовы были простить Алексу и Бегемоту все их антисоветские эксперименты как единственным представителям этого жанра. Может быть. Только вот про генерального секретаря-то зачем петь? Еще так грубо, неделикатно. Пели бы себе на здорovie про американского президента. А тут еще какой-то знакомый музыкантам морячок этот альбом про Рейгана и Андропова собрался вывезти в забугорье. О чем наивный морячок безответственно протрещался по телефону. Тут уж терпенью «кровавой гедни» пришел конец, и борзых панк-рокеров дружно вызвали на допрос в Серый дом на Литейном. «Кровавые гэдэшники» позднего СССР, конечно, выглядят утонченными гуманистами по сравнению с нынешними стражами демократически выбранной власти. Сейчас ребятишкам за такие песни, как пить дать, впаяли бы реальные или хотя бы условные сроки, как преступной группе, призывающей к смене власти, и кислород бы перекрыли навсегда. Ну а сначала бы немного попытались для порядка.

А тогда добрые комитетчики ограничились «задушевной» беседой. Очень жесткой задушевной идеологической беседой. Показали ребятам их фотографии и тексты песен, дали послушать их телефонные разговоры, заставили подписать бумаги об отказе от антисоветской музыкальной деятельности. Феде этого хватило, чтобы надолго прекратить панк-пропаганду. У Алекса мозга не было. С него все сошло, как с гуся вода. И уже через пару лет он выбрался из подвала на сцену и скакал там с лохматыми наклеенными бровями в память о последнем большом вожде, скандируя «Брежнев – жив!». Гнал в народные уши свою жизнерадостную джамбу:

*У – джамба-ю! Чам-папара-пара – Брежнев!
У – джамба-ю! Чам-папара-казачок!
Тара-рурай-рум – Горбачев!*

Пофиг ему было, что страной уже рулит Горбачев. Алекс жил в образе Брежнева и пел о том, что в стране ничего на самом деле не изменилось. Кроме декораций. У кормила стоят те же яйца, только в профиль. И он ведь оказался прав. Вот она, сермяжная правда убогого юродивого.

Летом 88-го я вернулся из армии в дивный новый мир, где теперь все перевернулось с ног на голову, а людей пока еще не мочили на улицах, и мы отправились с моим дружкой Димкой Бабичем (тогдашним басистом «Бригадного подряда») в Киев – просто оттянуться и заодно наладить связи с местной рок-тусовкой. Познакомились мы там с Колей Ежовым, местным рок-функционером, печальным симпатичным парнем семитской наружности. Коля познакомил нас с «Воплями Видоплясова», только что победившими на местном фестивале, а мы его в отместку познакомили с райской музыкой «Подряда» и «Ополчения». Хотели записать совместный концерт в Киеве. Рассказали о новых альбомах этих фантастических групп. Поставили песни. Алекс вопил из кассетника благим матом. Качество записи было ужасное. Слова разобрать было сложно.

– Как, как, вы говорите, называется этот альбом? – с интонацией ослика Иа переспросил меня напрыгавший Коля, долго силившийся понять, что же там орет Алекс.

– «Брежнев – жив», – повторил я.

– Ах, Брежнев – жид. Понятно. Знакомая тема. – Болезненная гримаса отразилась на лице тугухого Ежова. Он тяжело вздохнул: что ж, альбом с таким названием может быть у нас очень популярен.

Пришлось его расстроить, после того как мы с Бабичем закончили смеяться. Он расслабился и даже посмеялся вместе с нами. Но совместный концерт «НО» и «БП» так и не состоялся. Ни в Киеве, ни где бы то ни было еще, ни тогда в золотом, ни в новом времени.

Когда я в конце 90-х случайно реанимировал спящий летаргическим сном «Подряд», «Народное ополчение» уже превратилось в совершенно маргинальный проект. Они изредка играли по маленьким клубам, и былой лихости в Алексе уже не было. Его прекрасные музыканты разбежались, кто в шоу-биз, кто в новомодные музыкальные проекты. Потом и сам Алекс исчез с радаров на долгое время. По его рассказам, какой-то период по-настоящему бомжевал. Скатился на самое дно. Сорокалетний синий Джокер-бомж был уже далеко не так харизматичен, как двадцать лет назад. Но все это не отражалось на живости блестящих вылупленных глаз Алекса при каждой нашей встрече. Они все так же светились инопланетной энергией на сером старушечьем лице.

Поэтому я не пошел на его похороны в 2005 году. Невозможно было представить, что эти бешеные глаза потухли из-за недолеченых последствий

автомобильной аварии. Невозможно было представить, что адский петрушка больше не будет скакать по сцене, распевая:

*Нет больше героев –
Остались одни дураки!*

Все так, Алекс! Все так, ваше оголтелое величество.

На этом я собирался закончить свое лихорадочное эссе, но Панкер тут вспомнил, как на похоронах у Свины в крематории «бабушка» Алекс обходил всех знакомых битничков, стоящих в зале прощания у гроба его друга, и, прикладывая руку к их ушам, шептал, стараясь не прыснуть от смеха:

– Главное – что не мы! Главное – не мы!

Шутка казалась ему ужасно смешной. Алекс пережил Свина на пять лет.

(Свина прожил 38 лет, Коля Михайлов – 39 лет, Горшок – 39 лет, Алекс – 43 года, Рикшет – 43 года, Егор Дохлый – 43 года.)



ТАЛАНТЛИВЫЙ КОТ МАЙК

Игорь Панкер Гудков – смешной чувак. И домашние животные у него тоже смешные. Вот, например, был у него кот Майк. Назвал его Панкер в честь Майка Науменко, естественно. Своего покойного дружка. Что такого плохого сделал Майк Панкеру, не знаю. Вот Цой у него невесту увел. Логичнее было бы домашнюю скотинку Виктором назвать и держать на одной валерьянке. Или Свином в честь еще одного своего покойного дружка. И раскормить кота до безобразия. Но это моя черная логика. А Панкер, он чел насквозь светлый, добродушный до безобразия, только вот добродушие свое умело маскирует.

Но речь не о нем, а о его коте Майке. Я с ним познакомился достаточно поздно: Майк уже пребывал в солидном пенсионном возрасте. Но зато я много слышал от Панкера, какой его кот замечательный и как любит своего хозяина. Правда, последнее время любовь Панкера перекечевала к Европе, молодой сучке стафффордширского терьера, от которой бедному Майку то и дело доставалось. Так вот: возвращаюсь я как-то летом с друзьями на машине с рыбалки из гостеприимной Финки, и звонит мне жена. Ну я, как всегда, на заднем сиденье в обнимку с двумя добродушными голден-ретриверами Юкси и Дивой. Нежно сгребая их с себя, дотягиваюсь до телефона и узнаю приятнейшую новость.

– Ты только не ругайся. Панкер улетел пузо греть на юга, а нам своего кота подкинул на недельку.

Кот – обалденный. Он к нам со своим персональным туалетом приехал.

Ну а чего ругаться-то? Если б я мог дотянуться до Панкера, прибил бы. А ругаться не конструктивно. Тут надо пояснить. Я животных очень люблю. Всех, разных и даже чужих. Но у жены моей с давнего времени развилась астма, реагирует она на шерсть, и мы никакую животину в доме держать не можем. Отчего мы сначала очень страдали (пришлось даже спаниеля нашего тестю с тещей отдать), а потом завели пару аквариумов с «попугаями» и успокоились. Панкер все это знал, но воспользовался тем, что меня в городе не было, а добросердечная Оля коту отказывать не смогла.

Котик оказался размером с карликового бегемота: серый, почти голубой, пушистый, круглоголовый, с желтыми плоскими глазами, классический разъевшийся пожилой британец с вислым пузом, типичный Майк. Но на Науменко совершенно не похожий. Даже в исполнении Ромы Зверя. Хотя я тогда о возможности такого святотатства даже не задумывался.

Единственное, что роднило Майка с его именитым тезкой, – мурлыканье. Любил он это дело. Не то чтоб он нам все время пел «Ты дрянь», но слышно его было постоянно. То он требовал еду, то просто урчал от удовольствия. Но начну по порядку.

Я пришел весь пропахший рыбой, еще и притащил с собой трудовую дуру-щуку на пять кило. Зараза сломала мой спиннинг и чуть не перевернула лодку с двумя упитанными Антонами.

Майк полюбил меня с первого взгляда. Вернее, с первого нюха. Я пришел весь пропахший рыбой, еще и притащил с собой трудовую дуру-щуку на пять кило. Зараза сломала мой спиннинг и чуть не перевернула лодку с двумя упитанными Антонами. Но при помощи силы воли, судорожных движений и подсака была водворена в лодку и привезена домой. Майк просто с ума сошел, когда ее увидел. Но сначала он увидел меня и полюбил. Ну и стал мне эту любовь всячески демонстрировать. Хвост задирать, тереться об ноги, что сильно мешало мне передвигаться по квартире (пару раз я даже упал), и глядеть на меня влюбленными глазами, блаженно мурча. Жена моя даже обиделась. Она Майка уже несколько дней обихаживала, но перед ней он так не стелился. И перед сыном нашим не выделялся. Только передо мной.

Оно и понятно, почувствовал хозяина, который и выставить может. Или Панкер его дома так вымуштровал, не знаю. Только Майк проходу мне не давал. Куда я, туда и он. Только успевай двери туалета перед ним закрывать. Я на диване с ноутом лежу, Майк у дивана урчит: «Я обычный парень, не лишен красоты, я такой же, как он, я такой же, как ты» ну или «страх-трах-трах-трах в твоих глазах». На кошачьем урчит, непонятно ничего. И на том спасибо. Хорошо, днем, допустим, я к этому урчанию привык. Тем более что мяукал Майк гораздо противнее, чем урчал. Особенно когда еду требовал. Так что уж лучше так. Не в животе урчит, и ладно.

Но ночью совсем другое дело. Снится мне трансформаторная будка. Просыпаюсь с неприятным предчувствием. И что вы думаете – в миллиметре от меня сверкает в темноте влюбленными желтыми

фарами Майк, дышит рыбой мне в лицо и мерненько так мурчит: «Не пугайся, если вдруг ты услышишь ночью странный звук, это просто открылись мои старые раны». Мне такое проявление симпатии не очень понравилось. Пришлось Майка подальше унести и дверь запереть. Он под дверью мяукать начинает. Покормил его. Вроде отстал. Через пару часов опять мяукает и когтями по паркету скребет. Соскучился. И так каждую ночь. Ну, думаю, Панкер дорогой, приезжай скорее, милый друг!

Но постепенно привык. Майк и правда был милый. Подружились мы с ним. А как не подружиться с таким забавником, полным сюрпризов? Вот валяется он, как обычно, на ковре рядом с диваном, я какую-то байду по телику смотрю и внимания ему не уделяю. Но краем глаза вижу, не так что-то с котиком. Лежит на спине, лапки раскинул, голова неестественно на бок свернута. А главное – не мурлычет. Да и не дышит к тому же. Зубы оскалил, глаза закатыл, розовую терочку языка из приоткрытой пасти вывалил, набок свесил. Сдох, скотина! Сердце мое остановилось, холодный пот на лбу проступил. Вскочил я, Майка ногой тихонько в живот ткнул – никакого эффекта. Дохлый кот на ковре. Чужой дохлый кот!

– Ольга, – кричу, – Майк сдох! Это ты виновата. Зачем ты его вообще взяла! Что мы теперь Панкеру отдавать будем?

Ольга прибегает блее снега. Она хватает Майка за лапы, начинает делать ему искусственное дыхание, скрещивая лапы. Все зря. Она тянет его за хвост. Дохлый кот едет по коврику. Ужас!

– Что ты с ним сделал? – негодует жена. – Ты его никогда не любил.

А мне и ответить-то нечего. Жалко Майка. Аж до слез. Лежит такой тихий. Несчастный, дохлый. Лучше бы мурчал и мяукал. Всегда. Даже ночью. Жена плачет. Надо ж похоронить его теперь. Если б я знал, что кот так скоро сдохнет, не вел бы себя с ним так по-хамски. Не гонял бы из кухни и с кровати, кормил бы еще чаще. Бедный-бедный Майк. Начиная машинально гладить пузо мертвого котика.

И тут наш покойник натурально оживает. Легкая судорога проходит по пушистому телу, и я снова слышу довольное трансформаторное мурчание. Я хватаюсь за тапку. «Дохлый» Майк резво вскакивает на лапы. Ольга виснет у меня на руке.

– Убью, – кричу я сквозь смех, – артист хренов!

Больше старина Майк нам своего трюка не показывал. Видимо, моя реакция его не вдохновила. Но я его с тех пор зауважал. Талантливая зверюга. В первый раз я увидел, как коты притворяются мертвыми, хотя в детстве постоянно жил с этими

мурчащими тварями. Старый клоун чудесно разыграл перед нами (как перед мышами) «Похороны кота» Василия Жуковского. Стоит добавить, что происходило это действие на улице Жуковского.

А еще больше я зауважал Майка после того, как за ним пришел отдохнувший и загорелый Панкер.

– Где мой котик? Где мой Майкуша? Этот упырь наверняка обижал тебя, – едва протиснувшись в дверь, стал причитать двухметровый хозяин карликового бегемота. – Иди ко мне, мой котик. Иди ко мне скорее. Поедем домой.

Но Майк (наряженный по случаю отъезда в черный бархатный бант) не торопился возвращаться домой. У него были другие планы. Сначала он испуганно попятился от Панкера в спальню, а когда тот зашел за ним следом, лохматой молнией пронесся по коридору в столовую и забился под буфет. Мы с женой от смеха тихо съехали по стенке на пол. Панкер, никак не ожидавший такого развития событий, сначала остолбенел с фирменной глупой улыбкой на лице, но собрался и, кряхтя и ругаясь, полез на четвереньках шарить длинной рукой под буфетом.

– Кис-кис-кис! Майкуша! Это же я, дурачок! Поехали домой! Что ж ты царапашься, гад!

Тут мы узнали, что Майк умеет не только мурчать и мяукать, но еще и шипеть, фыркать и вопить. И царапаться, и кусаться. Бедный Панкер оконфузился по полной. Когда я отсмеялся, мне стало его так жалко, что вся злость куда-то ушла. Это вообще его отличительная черта. На Панкера невозможно долго сердиться. Кота он в тот раз все-таки вытащил, сунул под мышку и унес, не прощаясь. Больше он мне Майкушу не подкидывал. Боялся, что я его ему не отдам. И правильно боялся. Майка уже давно нет на этом свете, но мы часто его вспоминаем. Жутко талантливый был кот.

«Нам всем бывает нужно поплакаться кому-то в жилет, и если хочешь, ты можешь взять жилет у меня».



КОГДА МЫ НЕ БЫЛИ МЕЙНСТРИМОМ

РАССКАЗИКИ О МУЗЫКЕ, МУЗЫКАНТАХ, ФАНАТАХ И ПРОЧИХ ПСИХАХ



АЛЕКСАНДР БЕЛЯЕВ
Журналист, музыкальный обозреватель, переводчик. Родился в 1975 году в Москве. Окончил МНЭПУ. Сотрудничал и работал в штате в разных газетах и журналах («Московские новости», «Ведомости», «Время ново-

стей», «Российская газета», Where Moscow, Play, Billboard, «Музыкальная жизнь» и т. д.). В его переводе опубликованы автобиографии Эрина Клэптона и Мэрилина Мэнсона, биографии Джона Леннона, Робби Уильямса, Led Zeppelin, AC/DC и др.,

а также исследования «Начиная с музыки стала свободной» Стивена Уитта, «Тинейджеры» Джона Севидна и др. Автор документального романа «Человек в бандане» о борьбе с раком. Лауреат премии журнала «Октябрь» в номинации «Критика» (2017).

I. Басист великой группы

Нет, ну надо же: пригласили работать в магазин гитарный. Консультантом. В зале то есть торчать. Торговом. «Пионерам» гитарки показывать. И долбо-боящерам седеющим – безладовые басы и пяти-струнки. Когда предложили – не понял сначала, мастер-класс, что ли? Так это запросто... а, вон оно что... не, ну как язык только повернулся? Его, Генделя, так опустить...

А с другой стороны – ну кто его уже знает? «Пионеры», молодежь в смысле, – уж точно нет. Долбо-ящеры, может, и помнят. Консультант-приманка.

Пока так думаешь-думаешь, пока возмущаешься про себя – в смысле не вслух и в смысле «как дошел я до жизни такой», – сваливается имейл.

«Дорогой, Геннадий!!! Ваша аранжировка, нашей Песни шикарно!!! Но, нам неподходит именно такой, саунд, он к сожалению слишком, “винтаж”. Извиняюсь за беспокойство но требуется срочно, переделывать, что бы по-модней! Ваша...»

Писать по-русски научись грамотно, подумал Гендель. Письмо в корзину сразу, сразу, чтоб не видеть и не вспоминать никогда, аванса так и не дали, суки, жлобье, страну разворовали, а двести баксов за аранжировку закопили, суки... Тихо-тихо, не кипятись, давление, все дела. Тихо. Ладно, еще одна «шикарная халтура» накрылась. Ничего.

Кризис, мало заказов на аранжировки песен – даже у таких фифочек, у которых мужья на частных самолетах в «Розу Хутор» возят любовниц, а они тут поют пока что, в творчестве такие все, реализуются, типа, тупицы.

Партию безладового баса уже давно никто не приглашает сыграть. Кому нужен этот живой бас, если по радио и в Сети все равно его не слышно. Так они думают, сука, лохи неграмотные.

«Без дела не останешься, ты ж басист великой группы! Не баран чихнул!» Когда десять лет назад эта самая «великая группа» распалась, ему все это говорили. И в глаза, и за глаза. Некоторые критиканы, правда, что-то там поскрипывали, дескать, не такой уж он и виртуоз, что у них там за партии-то, не Жако Пасториус, поди. Как Пол Маккартни, скорее: в своих песнях блистает, ну а в других-то, где нотки похитрее выигрывать надо, там-то как? Он вообще умеет что-нибудь играть-то, кроме песен своей группы?

Ну ерунда ж. Играл же в разных группах, и рок, и фанк, слух есть, вкус есть, звук свой, с острой атакой, металлический такой, слэп, но не слэп, а мастерство не пропьешь. Тем более что он и не пьет давно. «Я водочку не пью, / мне овощи и фрукты...»

А сначала, после ухода, он правда в шоколаде как будто. Один продюсер-организатор концертов собрал супергруппу – из таких же, как он, из

известных команд, или уволившихся, или у которых в основной группе затишье. И на свой же фестиваль поставил. Инфоповод, публикации, телесюжеты, все дела. Два года катали программу – правда, песни все старые из тех групп, откуда он и другие чуваки. Разные по стилю песни, программа пестрая. Слишком даже. «В русском роке вообще все группы особняком стоят», как сказал один умный человек. Что это за стиль вообще? Как настоящее искусство – не поддается имитации, но невозможно продать, как товар. И, на его вкус, у всех русских рокеров, кроме «Сонаты», тексты – как овсянка на воде: питательные, но пресные. Правду-матку рубить – ну кому это надо... Это русский говнорок. Вот в «Сонате» стихи пелись! Особенно те, которые эта барышня филологическая, Марьяна Набокова, писала – там история, сказки, мифы. Крутое месилово.

Супергруппы всегда недолговечны. За редким исключением: когда все строится на особо циничном договоре. Таким: тупо зарабатываем деньги чесом с хитами и ни на чем не заморачиваемся. Но тут другое – они еще довольно молодые, тридцать с небольшим максимум, энергия еще есть, идеи, желание двигаться вперед. Но уже груз хитов и прошлой славы. Ну и все ж уже крутые, взрослые, гордые, опытные. У каждого мнение – решающее, как ему кажется. Хоть больше никому так не кажется.

В супергруппе Генделю было интересно заниматься аранжировками. Он считал, что все должно звучать а-ля жесткая вторая волна британского хеви-метала – совершенно, к слову, бессодержательный термин, ибо все там группы довольно разные, но, короче, идеал Генделя – Judas Priest, эстрадная почти что мелодика в жестком звучании. В таком ключе что угодно сыграть можно, даже забавно получится. Но вокалист, красавчик-блондин в лосинах, считал, что да, эта самая «вторая волна» – отличный выбор, но ориентироваться должно не на «Пристов», а на кого помягче. Например, на Def Leppard.

Короче, откатали тур, и о продолжении никто не заикался. Все разбрелись кто куда. Вокалист-блондин свою команду организовал, с ребятами-музыкантами из младшего поколения. Но он там и командир – автор мелодий, текстов и вообще бог. А Гендель опять не у дел. Попсу ему играть запахло, во всяком случае все думали, что запахло. Поэтому и не предлагали. В других великих группах есть басист, а если, допустим, нет по каким-то причинам – сторчался-забухал-умер-надоело-все, – то Генделю тоже там не особо рады. Потому что если басист

одной великой группы приходит в другую великую группу, то это уже не та великая группа, а новая супергруппа, а что это за засада такая – см. выше. Ну представьте себе, если б в Пол Маккартни пришел в Rolling Stones в девяносто каком-то году, когда от них Билл Уайман свалил? Ну что это было бы, Rolling Beetles или что?

А вот если б Бах, ну, Баканов этот, который вместо него стал играть в «Сонате», Бах кликуха, «мастер полифонии», пусть он... Ну вдруг у него там что-то... переклинит. Нет, грешно, конечно. Но вот если куда-нибудь денется? В секту, например, уйдет – хотя это разновидность медленного самоубийства с отчуждением имущества. Но вдруг. Исчез Бах. И тогда я б, может, с ними бы снова. И вот преследовала эта мысль, прям извела вся: а что если Бах этот недоделанный – который, кстате объективно лабает просто отлично, образование джазовое и наслушанность, все есть – и ни в чем он, в общем, передо мною – то не провинился, вошел в захлопнувшуюся за мною дверь, так вот если б он... В начале 90-х еще можно было мечтать о таком месте работы: хорошие басисты редкость, все у попсы играют, а там год чеса – и квартиру покупаешь. Но тут сама «Соната» распалась. Не сразу. Сначала Валера ушел в бизнес – причем не имя продал под марку, а как-то там рулил даже чем-то. То ли водку продавали, то ли компьютеры собирали, то ли все вместе мастырили-проворили, а из отходов производства делали спиртовые тряпки для протирки мониторов, но это так, фантазии. Без Валеры, как ни странно, еще чесали какое-то время: тупо взяли нового вокалиста. Парня молодого из самостоятельной студенческой группы «Адажио». А он и менеджера привел – тот у них басистом был по совместительству, но музыкант очень слабый, самоучка и вообще ноль. А вот как менеджер оказался – супер, такие концерты пробивал денежные, даже с новым вокалистом и старым материалом «Соната» весь бывший Совок еще разок объездила. Но потом уже явно это все выдохлось, инерция выработалась. А там и здоровье уже не как в двадцать лет. Я б, может, и не потянул бы дальше. Ходишь и напеваешь «Я не пью вина. / Ем овощи и крупы. / А ведь когда-то был / Басист великой группы». В общем, после ухода Валеры и в середине того турне с новым вокалистом Гендель решил когти рвать – ведь басист великой группы, а эта – уже не великая. К его уходу все как-то вообще спокойно отнеслись – видимо, уже поняли, что группа долго не проживет, – и дальше турне катали уже с Бахом, Бакановым этим ловким. Он, кстате, быстро нашелся – это к вопросу о дефи-

ците хороших басистов в отечественном мейнстриме (а «Соната» тогда уже стала мейнстримом, да еще каким – это если вы про стадионы и сборники с группой «Мираж» не поняли).

Опасайтесь мечтать – мечты могут быть услышаны не так. Как в том пошлом анекдоте про ковбоя, который загадал, чтоб у него всегда были монета на выпивку в кармане и беленькая цыпочка с мокрой киской, и желание исполнилось: реально у него из кармана всегда доставалась одна монета и за ним везде ходили цапля белая и кошка вечно мокрая.

Но это уже совсем в сторону мы.

Так вот, наконец-то, когда он уже и не думал. Звонок от Валеры. Воссоединение. 1998 год, осень. Самое ж неподходящее время! Ну, по логике: кризис, у народа денег нет, всем пофиг воссоединения олдových метал-групп. На самом деле Валера, что ни говори, вот есть у него бизнес-чутье. Время чувствует. Всех к ноябрю задолбали разговоры, статьи и телепередачи про кризис, комментарии Лифшица и всех остальных, так что воссоединение «Сонаты» оказалось отличным инфоповодом. Во времена, когда напряженка с хлебом, люди еще более охочи до зрелищ. Парадокс.

И сразу завертелись воспоминания: как шарашили по три концерта в день на стадионах вместе с «Миражом» и «Браво». Народ тогда все сжирал! Изголодался по развлечениям не хуже, чем по вареной колбасе. За семьдесят лет кобзоновщины по телевизору (с Кобзоном самим, впрочем, тоже в одном концерте пересеклись). Фанера, везде фанера – аппаратуры тупо нет. Магнитофон, усилитель и динамики – все. Включаться некуда.

В провинции – массовые драки: металлисты против брейкеров, панки против хиппи, «Армия Алисы» против всех вообще, в Москве и Подмосковье еще любера орудуют... в других городах пацаны с Челнов Набережных, казанские юные банды и так далее. И просто хулиганье всякое. Выйти вечером на улицу страшно. Интересное время, короче говоря. Кровь закипала.

Заработки с этих бешеных турне три-концерта-в-день в кармане не задерживались, а счет в сберкассе – это смешно. Алкоголь, наркотики, прочие излишества – к славе привыкнуть трудно, а чаще всего и просто невозможно. Гендель успел купить «Москвича» последней на тот момент модели и затонировать ему стекла.

Да, и бас-гитар прикупил десяток. Винтажные, из Штатов, японские. Разные. Но это – инструменты, это вечное. Половина, правда, сейчас уже продана.

Вроде подороже – исходную цену разве вспомнишь, да и деньги другие были, но что-то типа «дипломата» с пачками «четвертаков» – но думать об этом не хочется.

Думал: шутка это воссоединение. Вилами по воде. Пока мы там сыграем, пока продадим себя... Кстати, кто директор? Оказалось – тот самый Жея, Джефь, который из «Адажио», который последний тур им делал. Назначили дату. Тут Гендель заколебался: а вообще надо, не надо? Чего я ничего сам-то не это... Басист великой группы – это как маменькин сынок прям, ну что за статус, а?

В назначенный день долго выбирал, какую гитару взять – в форме V слишком ностальгически, пятиструнную – слишком пижонски, не джаз, поди, лабать собрался. И шнуры. И примочки.

Воссоединение оригинального состава «Сонаты» происходило так. Гендель в результате пришел первым. Гитарист, второй гитарист / клавишник (да, нужно им иногда «мыло» это синтезаторное, струнные какие-нибудь) и барабанщик чуть позже. Валера, сказал Джефь, что-то важное выясняет с владельцем студии, потому что тут какие-то особые условия требуются, типа того. Час прошел – Валера не показался. Шутки уже прошутили все.

Гитарист: Блин, вот где он?

Басист Гендель: Звезда наша?

Гитарист: Она. Он в смысле. Певец ртом.

Барабанщик Варфоломеев по прозвищу Барток: Он и раньше опаздывал.

Второй гитарист / иногда клавишник: Ну не на столько же... час уже... Кстати, вы настроились?

Гитарист: Не спеши. Тебе-то настраиваться не надо.

Клавишник: Я к тому – может, поиграем?

Басист: Без вокалиста?

Барабанщик: Без вокалиста ритм-секция лучше слышна.

Гитарист: Ты чо сказал?

Барабанщик: Ничо, ничо, я так... Давайте, правда что, раз, два, три...

Басист: Без вокала я и дома под минус поиграю. Мы зачем собрались?

Гитарист: Ради бабок!

Клавишник: Парни, у меня халтура, мне бежать скоро...

Барабанщик: Я вот, кстати, на свой текущий проект...

Гитарист: Текущий куда, блин!

Барабанщик: ...Забил. Ради воссоединения нашего. И где оно?

Басист: У меня тоже халтура уходит. (Соврал.)

Клавишник: Нет, правда, *ему* сказали, где мы и когда?

Гитарист: Вообще-то это *он* нам сказал.

Клавишник: Ну и где он?

Гитарист: Я откуда знаю? Он взрослый человек, что, мне за ним ехать, что ли?

Барабанщик: Слушайте, я тут грув такой снял вчера, давайте покажу. Раз, два, трь...

Гитарист: Да тихо ты! Сейчас придет...

Клавишник: Мы ничего не перепутали?

И Гендель не выдержал: Ничего вы не перепутали. Он просто показывает так, кто тут главный. Отныне и навсегда. Всегда он таким был...

Гитарист: Ген, Ген, тихо, он все...

Басист: Да засранец он!!! Сволочь снобская, иди ты на хер со своим воссоединением, понял?

Крикнул в потолок, как будто Валера там под этими звукоизолирующими белыми плитами сидел. И вышел из комнаты, хлопнув дверью. Ну, как мог хлопнул – в студиях двери тяжелые, но бесшумные.

Думал: может, позовут. Наверняка позовут. Да я и не против, просто прояви уважение. Они и позвали – Баха этого. Как и почему так решили – он не знает. Так с ним и катают. Судя по всему, Валера просто захотел сделать из группы бизнес-машину – и сделал. И все согласились. И получилось, главное: новая песня – раз в два года, альбом новый мучили лет десять, наверное, а народ все равно ходит-прется.

Гендель не принимал участия в сборных проектах. Ну это где альбом-посвящение тому-то или концерт в честь того-то. Или на телике. Он многих знал, мог бы ходить мордой торговать, рассказывать про всяких... Кобзона того же. Или Талькова Игорька – этот рокер практически. На всяких там «Достояниях республики» по Первому каналу. Не участвовал. Не ходил. Может, зря. Узнавали бы. Лекции бы сейчас читал, как Брайан Иноу. Но вот не учили нас такому. Нас вообще ничему не учили, а музыкальная тусовка сейчас такая, что все уметь надо – влезть, залезть, пролезть... самопиар. Музыки нет – один шоу-бизнес.

Денег у людей немерено, но все хотят дешево. Какому-нибудь папику, у которого телочка «запела», штуку денег сторговывать не запахло! У нее мобильник в день больше сжирает! (Наверное, у Генделя мобильного нет.) Даже последний идиот считает деньги, а если не умеет считать, то думает: где меня наколют, разведут и кинут. Гендель нормальные варианты всем всегда предлагает, не залуцается, но хорошие предложения всегда подозрительны, безоговорочно верят только наперсточникам.

Гендель принципиально отказывался участвовать во всяких сборных концертах ко всяким памятным датам и юбилеям всяких старых мудаков из советской эстрады. Может, и зря, стал бы узнаваемым вне тусовки. Сейчас бы лекции читал, как Брайан Иноу. Но вот не учили нас такому, учили только ладам всяким и аккорды альтерированные как обыгрывать. А потом деньги чемоданами получать за левые концерты, и так это все влезло в мозги, что ничего ты уже с этим не поделаешь.

Это все воспоминания. Рефлексия ненужная. А надо как-то так ответить этим из магазина, чтоб все-таки что-то достойное предложили. Мастер-класс регулярный, например. Надо подумать. Но тут мобильник Генделя, позапрошлогодний китайский смартфон, вдруг заиграл рифф Another One Bites the Dust, три ноты на струне ми, ля-соль-ми-ми-ми... тыды-дын-ды-дын... Гендель на рингтон ставил то эту мелодию, то Day Tripper битловский.

Номер незнакомый. А в голосе обертоны какие-то знакомые. И вот он говорит – на ты, как со старым другом, про какой-то там суперпроект, в котором бюджет немереный, и им аранжировки нужны до за-резу, потому что материал – отстой, нужен человек со вкусом, как ты, кто из этого всего что-то «больше-менее не позорное вытянет, ну, ты сможешь, старик, ты ж Гендель, у тебя ж список послужной, старый корабель, вся корма в ракушках...»

– Извини, – перебил Гендель. – Я этим больше не занимаюсь.

И отключился.

II. Шоу

Говорят, кошка умеет считать до пяти. Если она родила, допустим, шестерых котят и одного забрали – то она не заметит. А если еще одного – то уже волнуется кошка.

Джефь смотрел на сцену. Пятеро музыкантов. За пультом еще звуач невидимый. Наш тоже, российский, десять лет с группой «Соната». У технической команды – crew, по-иностранному если – свой бригадир. Еще кто-то с нами приехал сюда, в Норвегию... а, точно – юный журналист, от нашего же сайта и фанзина. Завтра норвеги подгонят микроавтобус, «линкольн» или «мерс» представительского класса, то есть правильно рассчитал, уедем все.

Жидкие аплодисменты, крики «Вау!». «Соната» заиграла свой давний хит, «Железную деву». На магнитиздате ходила с 84-го года. Тогда еще никаких хит-парадов не было, но весь Союз эту песню знал. Знаток западного хеви-метала, правда, го-

ворили, что гитарный рифф содран у датской группы Pretty Maids, но кому какое дело: эта нынешняя норвежская публика одинаково не «секет» ни русскую «Сонату», ни датских Pretty Maids. Да и откуда знать-то, хеви давно не мейнстрим, это только «Соната» собирает стадионы в России. И ближнем зарубежье. В таких мелких клубах, как здесь, не играют. Но организаторы фестиваля «Рок Арктических Наций» предложили нормальные условия, обычный гонорар, а дата как раз попала на период затишья группы, так что Евгений Михайлович по прозвищу Джефь сказал: о'кей.

В этой красной темноте Джефь наконец поймал взгляд бармена, а сделать это было непросто, ибо плечистый этот парень все время крутился, вертелся, нырял под стойку, забирал грязные стаканы, хайболы и кружки, в полные хайболы закидывал кубики льда и, тряся белесой бородой, отвечал всем сразу на русском, английском и норвежском, а когда подставлял, наконец, кружку под краник и дергал за ручку, то – замирал прям, глядя вдаль своими светло-голубыми глазами. Дергал ручку вверх, когда снежная вершина пены на сантиметр поднималась над краем кружки, бахал кружку на деревянную стойку – струйка побегала по пупырчатому краю кружки – принимал очередной заказ и снова нырял под барную стойку.

- Ван бир, – сказал Джефь, подняв вверх указательный палец и добавил норвежскую форму вежливости: – Ваш-шнэль.
- Йо, – ответил бармен.
- Тусен такк, – сказал Джефь, нажимая на согласный «к».

Бармен пробормотал в ответ что-то типа «ваши гуд», но на этом норвежский Джефа заканчивался. Джефь из любой поездки привозит языковой трофей. Туры «Сонаты» обогатили его немецким, финским и ивритом. «Все страны бывшего Союза, включая Израиль», это в группе шутка такая про их «расширяющуюся широкую географию команды» (так написано у них на сайте в разделе News).

В Финляндии шведский – второй официальный язык, там вокабуляр Джефа обогатился словом lagom. Очень емкое, перевести только описательно возможно: типа, вот сейчас очень хорошо и достаточно, а если чуть больше – будет уже хуже. Для шведов это формула счастья прям. Джефь тогда подумал, что это самое антирусское понятие, ибо нам нужно все через край. По беспределу (в хорошем смысле). И рок-н-ролл у нас такой... Впрочем, еще до того, как Джефь стал менеджером «Сонаты», у этих «ребят», которые старше его отца, беспре-

дел уже весь закончился. И до сих пор группа работает четко, как оборонный завод. А Джефь – типа главного инженера, не меньше. И не больше.

Обычно вокалист Валерий Алексаныч, Валеро, по сцене носится, как оленем укушенный. Но здесь не побегаешь. Так что он – прыгает. Хорошо, что у него рост средний – будь на полголовы повыше, макушкой в потолок воткнулся б. Остальные спокойно стоят, перебирают струны, еле заметно чпокают палочками по альтовым и тарелкам – а звук все равно яркий, мощный, качает, а все эти взмахи руками – показуха, не более, – иногда, правда, гитаристы встают плечом к плечу и «рубятся». Заученное движение, рок-н-рольный балет – всегда на ура проходит. Мужчины упитанные, стрижки как на военной кафедре (все, к слову, отслужили в свое время) – волосы только чуть уши закрывают. Валерий Алексаныч один только сохранил волосы свои очень светлые до лопаток, они у него сейчас крылами белыми вверх-вниз. Как крылья альбатрос. Образ узнаваемый. Иконический, что называется. Причем у Валеры он естественный – всегда такие волосы были, он сам как альбинос. Раньше думали – специально красится (а на гидроперит тратиться не надо). Теперь в гриве его просеребь седины не заметна. Вне сцены «хаер» туго завязывается в хвост, и en face Валеро, с увядающей светлой кожей в веснушках и набрякшими нижними веками, напоминает преподавателя гитары или торговца компакт-дисками с «металлом». Собственно, это преподаватели электрогитары и торговцы компакт-дисками с металлоломом косят под него четверть века уже.

Джефу не надо смотреть на часы, чтоб понять: до конца выступления пятнадцать минут: заиграли не очень известную песню «Малюта Скурлатов» из альбома «Вокализ», официального, он на «Мелодии» выходил. По легенде, когда подруга группы – читай «группы» – по имени Марианна Набокова, выпускница филфака, хиппушка с седеющими спутанными волосами и набрякшими нижними веками, принесла текст Валере, тот сказал:

- Мариан, Скурлатов – это петь неудобно. Давай Скурлатов, как в школе по истории проходили?
- Нет, Скурлатов – так исторически правдиво! – воскликнула она, заламывая руки. И поспокойнее: – Ну ты споешь что угодно, Валер, что угодно, так что, Валер, иди на фиг.

Оказалось – правда, фишка. Даже школьный учитель истории в школе, где учился Джефь, человек очень старый (под пятьдесят), никакой рок-музыкой совершенно не интересовавшийся, отметил,

можно было только с дипломом о профильном образовании, причем по любой специальности, хоть «хоровое дирижирование». У директора – термина «продюсер» еще не было – импозантного сорокалетнего мужчины, именно такой и был. В каком-то смысле он и был дирижером. Хора, в каком-то смысле. И всех своих молодых прикрывал и решал все их вопросы, от бытовых до триппер вылечить.

Первый хит – «Опричина». Если можно так назвать эту песню, тогда понятия «хит» не было. Второй альбом, «Вокализ», стал настоящим официальным хитом – попал в чарт «Звуковой дорожки» газеты «Московский комсомолец». Хит-парад газеты этой, правда, тоже был не очень настоящий – его составляли не по продажам альбомов – тем более что там у «Сонаты» могло продаваться, легальных-то копий альбома не было, – а по опросу. «Сонатовцы» никак своих поклонников не подговаривали писать письма в редакцию и голосовать за альбом – им бы в голову такое не пришло. Для них вообще попадание в этот «Косомоец» стало сюрпризом. И более важным бонусом – выступление на празднике газеты на стадионе «Лужники». Там миллион народа собирался. Вот реально, не меньше.

И вот после этого плотину, как в той песне, провало. Из андеграунда – целый полк «металльных» групп. «Шах», «Мастер», «Август», «Ария»... Знатки западного хеви ловили Валеру и его поделничков по группе на плагиате у западных групп. Имена называли. Валера сразу взял манеру отшучиваться. Одна корреспондентка в иссиня-черной помаде и тенях (мейк-ап наверняка цыганского производства, расфасованный в игральные шашки вместо баночек) спросила: «Вот вы, являясь по сути русским ответом Judas Priest...» Валера тут же отсек со смехом: «Нет, русский Judas Priest – это группа “Мастер”, а мы – русский ответ Iron Maiden. Хотя они нас об этом и не спрашивали!» Наглость убедительна: больше про плагиат никто не заикался.

Джефь долго подбирал название для своей группы. Остановился на «Анданте» – увидел на пластинке с Бахом, которую мама слушала. Отец ухмылялся: чего терминами-то понтуетесь, вы ж все без образования музыкального? Иль в классики метите? Ну-ну, отвали, Бетховен!

* * *

После школы Джефь, получивший, к удивлению родителей, довольно приличный аттестат, поступил в институт. В технический, где конкурс тогда был сугубо условный. Конкурс аттестатов практически

на все факультеты, кроме экономического новоржденного. Джефь попал на факультет «Черная металлургия» – почти случайно, хотя название ему нравилось. Цель была: пересидеть армию на «войне» (военной кафедре), выйти свободным человек. И да, конечно, – развивать «Адажио».

Как ни странно, институт в этом смысле предоставлял просто все возможности мыслимые: и репетиционное помещение (всегда пустой гигантский актов зал), и аппаратуру, и инструменты! Микрофоны, усилки и гитарки-барабаны-клавиши по какой-то неведомой халыве институт получил в свое время от иностранных партнеров-благотворителей-случайных-спонсоров, бог знает от кого еще. А плата с юных музыкантов такая: иногда выступать на институтских мероприятиях. Даже и это хорошо: это ж более или менее профессиональная задача. Прежние музыканты, с кем Джефь играл в школе, отвалились. Трое учились в других вузах, а барабанщик просто сразу в армию ушел. «Я тупой, учиться все равно не буду».

Новые музыканты подбирались с трудом. Все желающие играли либо на гитаре, либо на фортепиано, для их «мелодичного спид-метала» совершенно ненужного. Пришел один, окончивший музыкалку по альту, – захотел играть на бас-гитаре. Давно, говорит, хотел, и, хотя сам любил Slade Queen и T-Rex, тут пошел на компромисс с совестью, объяснив себе, что решил «это тоже рок-н-ролл, в каком-то смысле». Джефь уступил – переключился на ритм-гитару, аккордами чесать. Хотя с нею, конечно, выполнял чисто декоративные функции.

Уходили с базы поздно вечером. «Опять с гитарами своими? А кто сталь стране варить будет, а, гитаристы?» – так прощался с ними на проходной вохровец, дед с носом, как огромная малина, и мелкими колкими глазками под растрепанными, как швабра, бровями. Вохровец, судя по всему, за жизнь стали наварил – на два БАМа хватит.

К весне 1994 года «Адажио», просуществовавшее уже два года, могло дать получасовой концерт, хорошо отрепетированную программу. Выступали тут и там, где придется: городские праздники, всякие сходки молодежи и ветеранов и тому подобное. Проблема заключалась в том, что почти никто в группе ничего не сочинял, а если и пытался, то получалось как-то очень жиденько: один рифф гитарный, пара строчек с жалкой рифмой... Программа состояла из каверов: пара песен Iron Maiden, Judas Priest, наших «Шаха» и «Мастера» и, конечно, той же «Сонаты». Вокалист «Адажио», самородок Миха, на курс старше, снимал всех рок-вокалистов в ноль,

а Валеру на высоких нотах вообще «убирал». Среди московского «метального народа» уже ходили слухи, что есть такая «сонатинка» – группа, которая играет все эти навороченные неоклассикой хард-песни песни «Сонаты» лучше, чем оригинальная группа. Джефь Михе руки целовать готов был. Этого, к счастью, до поры до времени не требовалось. Но вскоре произошли события, которые изменили для «Адажио» все. Джефь ожидал не такого.

Он, конечно, мечтал запахнуть «Адажио» на разогрев к своим кумирам, «Сонате». На любых условиях. Хоть трупиком, хоть тушкой, как он сам говорил. И вот ему это удалось.

Хотя копировать «Сонату» – бизнес бесперспективный, ибо оригинал-то еле собирал какой-нибудь ДК «МАИ» в Москве от силы раз в год, а потом шарился по провинции, а своего материала у «Адажио» не было, но Джефь все мечтал «греть» своих кумиров. А там пусть нас хоть разорвут.

Тут же встал вопрос: что играть-то? Программу собирали по кусочкам. Как трибьют кумирам. Вспомнили песню «Сонаты», которая есть только на одном бутлеге, а официально не записана и не играет на концертах. Плюс две альбомные песни, которые сама «Соната» почему-то на концертах никогда не играла. Каким-то образом слепили свою собственную композицию из тех нескольких риффов, что сподобились сочинить, и разрозненных строчек в разных стихотворных размерах. И добились инструментальной пьесой «Мартовские Иды» группы Iron Maiden. Джефь играл то на ритм-гитаре, то на басу. Хотя коллеги по группе намекали, что лучше б он вообще на сцену не выходил. Он сделал вид, что намеков не понял.

Акции «Адажио» выросли – их уже стали приглашать на всякие подмосковные метал-фесты. Джефь научился организовывать что угодно где угодно и на любых условиях. Всерьез придумывал пристроить группу если не в «Утреннюю почту», то хотя бы в «Нержавежку». Хотя почему не в «Почту» – Ольга Кормухина вот там спела что-то тяжелое фальцетом своим тинатернеровским, а мы что, хуже? Но через какое-то время после того концерта с «Сонатой» Миха позвонил Джефу и сказал:

- Чувак, я уйду.
- Куда?
- Ты стоишь? Сядь!
- Не томи, говори быстрее.
- Если быстрее, то я теперь фронтмен группы «Соната»... э, ты не ударился? Я ж говорил – сядь, если стоишь.

– Ссссука... – Джефь потирал затылок, которым ударился об шкаф, поскольку дернулся назад резко.

Оказалось, все правда. Валера ушел в бизнес – ну то есть имя свое предоставлял разным предприятиям. Другим. Это не афишировалось. По легенде – жил в деревне. А он и правда там много времени проводил – работать-то ему не надо было. Тогда этот бизнес – «купил там продай здесь втридорога и живи на эти три процента», как в том анекдоте.

Импозантный директор решил, что перспектив тут никаких, что ему это не надо. Миха предложил на эту серьезную должность все еще юного Джефа. Коллектив его принял.

* * *

Когда из-за бесконечных гастролов с «Сонатой» Джефь наконец бросил институт, отец чуть не запил. Бутылку водки с соседом уговорил, но дальше, правда, сдержался. Бизнес, дела, 90-е на дворе – расслабляться нельзя.

- Ты кем работать будешь, а? – кричал отец.
- Я уже работаю.
- Да что это за работа – с группой ездить! В трудовую что тебе запишут?
- Да кого это волнует... Сейчас вообще ни с какой работы не прожить – ее нет просто, а если есть, то там ничего не платят.
- А ты хочешь миллионы сразу?
- Да почему сразу и миллионы... Я хочу нормального дохода, жить чтобы, но у кого сейчас деньги – у банкиров и... Я хоть менеджер...
- Останешься без диплома, профессии, денег, в конце концов.
- Мне терять нечего.
- А семья?
- Кстати, о семье. Я тут подумал...
- Вот даже не думай!
- Ну просто мы со Светкой... ты только не волнуйся.
- Мне-то что.
- Тебе-то, конечно, ничего. Мы же оба взрослые люди.
- Кто?
- Ну кто – мы со Светкой. (Это его подруга.)
- Погоди, она что, беременна? – Отец привстал.
- Ну как тебе сказать...
- Идиот! Срок какой?
- Три.
- Идиот! Оба вы идиоты!
- Пап, мы взрослые люди.
- Мудаки вы мелкие, а не люди... Я думал, что в Москве живет один мудака, но я ошибался, их, ока-

- зывается, двое. У тебя теперь вся жизнь псу под хвост, ты понимаешь?
- Если псу под хвост институт этот дурацкий – то и слава богу. Давно пора.
 - Так отчислят – в армию пойдешь!
 - С ребенком не возьмут.
 - Год всего не берут, идиот. А потом в кирзачи обуешься, как рядовой.
 - Там я что-нибудь придумую.
 - Напридумывал уже. Слушай, может, это...
 - Что, отец?
 - Ну, решить этот вопрос...
 - С армией?
 - С беременностью, идиот.
- Тут в кухню вошла мать Джефа:
- Я вам решу. Я вам сейчас так решу! – Она покачала головой. – Бедная девочка... Женька, звони ей. Пусть собирается и переезжает.
 - Куда?
 - Идиот, – вздохнула мать. – Жить у нас будете. Миша, не спорь!

* * *

В день выезда музыканты спустились в лобби вовремя, бодренькие и позавтракавшие. Техники запаздывали: это техники больше похожи на рок-звезд – молодые, тощие, волосатые, похмельные.

Джеф ехал в микроавтобусе. В «мерсе» с Валерой – басист и журналист этот юный. Джеф чувствовал себя более или менее, поскольку вчера на аквавиту не налегал. Норвежская «поляна» after party пугала: вино, пиво и аквавита – травяная водка скандинавская. Лучше даже не начинать.

Через полчаса подъехал «мерс» представительского класса (бытовой «райдер» – святое дело, а норвежцам этот пункт выполнить несложно). Валера сел вперед, гитарист назад направо, журналист – за водителем.

- Журналист сразу достал диктофон и спросил:
- Валей Александрович, прокомментируйте, пожалуйста, ваше выступление.
 - Мы старались, – сказал Валера. – Раскачать их всех. Вроде получилось.
 - Ну а то, что на фестивале было довольно много попсовых групп...
 - Я не слушал, я к своему выступлению готовился.
 - Ну а как вам вообще то, что теперь в хеви-метал-фестивалях играют глэм, хард и попсу всякую?
 - Да ничего, была б музыка хорошая. Я сам глэм обожаю – Slade тех же.

- Ну сейчас же полный бред! – продолжал давить журналист, и совершенно было непонятно, к чему он клонит.
 - Да бреда всегда было достаточно, – уклонился Валерий Саньч. – В мейнстриме всегда было много мусора.
 - Сейчас бред – часть мейнстрима, – вздохнул журналист.
- Все засмеялись. Валера просунулся между широкими мягкими сиденьями:
- Слушай, давай я тебе в самолете интервью дам? Ты парень, видать, серьезный, надо нормально поговорить. Мы в первом классе, там никто не помешает. Лады?
 - О'кей, – кивнул журналист. Вот это удача – с самим Валерий-Александром сидеть в первом классе и беседовать два с четвертью часа! Счастье прям.
- Ехать три часа до Мурманска. Через границу. Водитель, явный патриот местных мест, несколько раз оговорился – «едете в Россию». А тут что, не Россия? «Тут – север!» Все время какие-то истории травил. Про баню и ныряние в прорубь, как тут принято. «Кайф неземной, ну вы, ребята, наверное, все виды кайфа знаете!» Никто не улыбнулся. «У нас не пьет никто даже, – сказал басист. – Сам в завязке и не сучаю. У меня вон внуки, хватит. Да и потом – музыка все равно главнее всего». «Ну да, вы ж такие популярные...» – сказал водитель важно. «Не играл бы я в “Сонате”, я б дома на виолончели пилит», – пожал плечами басист. «Не играл бы ты в “Сонате”... – Валера, сидевший на переднем сиденье, резко обернулся. – Группы бы не было... уже бы давно. Бах, без тебя ж группа не группа! Ты ж у нас мастер полифонии!» Все захихикали, уже скорее из вежливости и добродушия, но это значит, что обстановка уже совсем дружественная установилась.
- Извиняюсь, – сказал журналист, которому его вопросы не давали покоя, – а как вам, Валерий Александрович, такой зал... мм... небольшой?
 - Да отлично, – пожал плечами Валера. – Уютно, контакт с публикой сразу, голос сильно напрягать не надо.
 - Ну вы ж, наверное, в таких никогда не выступали! – продолжил давить журналист.
 - Сто раз выступали. Всякие ДК в Подольске, в Рыбинске. А филармонии областные – просто песня. В плохом смысле. Круче только в деревенских клубах.
 - Неужели?
 - Ну да. Все это проходят. И мы. До того, как стали мейнстримом.

Без десяти шесть Игорь Борисович выключил телевизор и подошел к окну взглянуть на бело-синий коллектив многоэтажек района. Постояв у окна, он прислонил часы к уху, чтобы сосредоточиться на шестидесяти ударах в минуту. Тэк-тэк-тэк – дергалась пружина. Звонка нет. Любое отклонение от ритма нервировало.

Только в семь часов Игорь Борисович, пересмотревший груды газет «30Ж», перезвонил сам.

- Дисциплина – залог здоровья, – поздоровался он с сыном.
- Чистота вообще-то. Привет, пап. Извини, не позвонил. Кран прорвало, квартиру затопило. Расхлебываем тут.
- На кухне?
- В ванной.
- Давно менять пора было. Соседей затопили?
- Не, нормально. Разберемся. Сегодня убираем, завтра новый ставить буду. А так у нас все как обычно, позвоню, как время будет.
- Отечественный бери, латунный. У Валеры на рынке хорошие краны, ну который у станции торгует. Однорукие не бери, а то... – но разговор оборвался.

Ночью Игорю Борисовичу плохо спалось, и встал он раньше обычного. дождался семи, чтобы завести часы, потом девяти до открытия строительного рынка. Сыну нужно было помочь. Игорь Борисович проработал сантехником в местном ЖКХ несколько лет, хорошо знал продавцов, с некоторыми дружил. Поэтому новый кран купил идеальный. Не переплатил, не продешевил.

Сын жил на другом конце города, но столица доказывала относительность расстояний – жизнь в одном городе не предполагала частые встречи. Игорь Борисович спустился в метро, сел в полупустой вагон. Двери хлопнули, и поезд потянуло вперед. Ехать было минут сорок, он глянул на часы и засек время. Из окна вагона, как из грязной лужи, на него смотрело отражение. Крепкий мужик еще, в глазах металлический блеск, спокойствие. Игорь Борисович держал на руках красную коробку с новым смесителем и чемодан с инструментами, которые захватил из дома.

- Зачем?! Не надо было, – сказал Андрей у порога, когда увидел отца с чемоданом и красной коробкой. – И лучше в следующий раз звонить, мы же договаривались.

Сын Андрей – худой, высокий, кареглазый и бородатый – был не то чтобы другой масти, а будто бы совсем из другой карточной колоды. Игорь Борисович выплавлен из стали, а Андрей – из теплой, мягкой меди.

В доме сына было светло и просторно. На окнах не было занавесок, на подоконниках пусто, на полах не было ковров, минимум мебели, много фотографий и картин на белых стенах. Но в этом свободном пространстве съемной квартиры Игорь Борисович все равно ощущал себя неуклюжим взрослым в чужой детской комнате: ходил осторожно, будто боялся наступить на детскую игрушку, аккуратно садился на бежевый диван и стулья с высокой спинкой, остерегаясь что-то сломать или испортить. И повсюду чувствовал вязкое, стесняющее давление.

Андрей жил с Надей. Кто она: подруга, невеста или жена? Игорь Борисович не знал, куда ее поместить в своей системе координат, от этой неопределенности побаивался ее настолько, что даже не называл по имени.

Из ванной Игорь Борисович крикнул:

- Напортачили твои работнички тут. А я говорил, давай сам сантехнику поставлю. Не послушал... – Игорь Борисович изучал лабиринты труб. – Ладно, я сейчас быстро поменяю.
- Пап, – Андрей позвал из кухни. – Давай посидим, кофе выпьем. Тебе какой – капсульный, из турки, из кофемашины, во френч-прессе? Есть темной и светлой обжарки. Разные бленды – ароматизированные и классические. Могу покрепче, могу помягче сделать. Пену могу взбить. Капучинатор есть. Или просто с молоком? Без кофеина есть, тебе какой? Сироп добавить? Давай мягкий blend сделаю, только недавно друзья из Африки привезли свежий кофе...
- Чай буду, – ответил Игорь Борисович и посмотрел на часы.

Хотелось управиться за час и поехать домой. Андрей ответил молчанием.

Из ванной Игорь Борисович прошел на кухню, вымыл руки и аккуратно и медленно присел на стул. Надя стояла спиной, нервно и быстро резала салат. Андрей ставил тарелки.

- Скандинавской ходьбой не занялся, па? – Андрей намазывал на тонкий хлебец пасту из хумуса.
- Это для стариков, мне еще рано.

Игорь Борисович положил на тарелку салат из одних зеленых листьев, политых чем-то кислым и пряным и посыпанных мелкими семенами. Он чувствовал себя как ребенок за взрослым столом – непонятно, как это есть, где хлеб и почему тарелки такие плоские, большие, квадратные и синие.

- Как на работе дела? – спросил Игорь Борисович, наконец проглотив листья рукколы, которая имела вкус бензина.

- Пап, я уволился.
- Полгода назад уже, – добавила Надя.
- Ты там и года не проработал же. – От салата во рту стало слишком кисло. – Я в ЖЭКе двадцать лет проработал. Меня не мотало, как пустую бутылку на полу вагона.
- А я ищу себя, пап, пробую разное. – Андрей положил в тарелку побольше салата.

Надя доела салат и налила себе воды, Игорю Борисовичу сделала чай.

- Чай только из пакетиков у вас? Заварки нету? – обратился к ней Игорь Борисович. – Сделай тогда, пожалуйста, кипятку, – протянул ей налитую чашку и снова обратился к Андрею: – Ну так и что же попробуешь?
- Фотографией занялся.
- В фотостудии, что ли? Где на паспорт фотографируют?

Андрей встал из-за стола и подошел к Наде. Надя, выливая неправильный чай в раковину, погладила его по руке, обняла понимающим взглядом. Андрей долил воды в чайник. Надя его включила.

- Пока там, да. Пока учусь делать профессиональные съемки.

Вся семья слушала, как закипает вода. Игорь Борисович ковырял в зубах застрявшие зерна из салата, Надя переглядывалась с Андреем.

- И что, хорошо платят? – Игорь Борисович дождался наконец кипятка в чашке и начал осматривать кухню, чтобы найти сахар. – На свою квартиру заработал? На машину? На свадьбу? – И он покоился на Надю.
- Сахара у нас нет, к сожалению. – вставила Надя. – Да и вам лучше без сахара, он же вредный.
- Сколько надо, столько и платят, нам хватает, – вставил Андрей, опустил капсулу в кофемашину.

Громко щелкнула крышка, машинка затарахтела и выпустила витую струйку кофе, похожую на нить шпагата. Запахло кофе. Все слушали, как наполняется чашка.

Игорь Борисович отхлебнул своего кипятка. Снова попросил у Нади пакетик чая, окрасил им кипяток, попробовал, добавил еще один. Несладкий коричневый напиток напоминал то ли польнь, то ли дым костра. Во рту было едко и противно. Он посмотрел на часы.

- Ну, пойдём работать! Работа, как говорится, не волк, а сила, умноженная на расстояние. – Игорь Борисович улыбнулся Наде, а она опять перебрала нить взгляда Андрею.
- Па, не надо кран менять, – поглядывая на отца поверх чашки кофе, сказал Андрей.

– Игорь Борисович, мы сами решим этот вопрос, мы уже договорились с... – Надя встала из-за стола и начала что-то искать. – Где же тут он лежал...

- Мои друзья все починят. И кран я уже купил, такой, какой я сам хочу.
- Однорукий, что ли? Отечественный хоть?
- Однорукий. Итальянский. Какой я хочу.
- Вот, сахар нашла! – И Надя протянула измятые одноразовые пакетики с сахаром.

Игорь Борисович нехотя взял один и высыпал в чай. Вкуснее не стало.

- Ну давай я твой поставлю. – Отхлебнул. – Только потом не жалуйся, когда опять рванет.

– Я тебе не жаловался! И не надо мне ничего ставить, я вообще не просил тебя приезжать. Я сам могу разобраться и со своими проблемами, и со своей жизнью. И с краном тоже.

- Игорь Борисович, – вмешалась Надя, – мы просто друзей попросили, уже договорились, нам так неудобно будет опять им отказывать, нужно уважать чужое время.

– Неудобно на потолке спать – одеяло падает, – по инерции пошутил Игорь Борисович. – Ну как знаете. Поеду тогда.

Игорь Борисович прошел в прихожую и начал обуваться.

На улицу Игорь Борисович вышел с неприятным ощущением. Вспотел, будто на пятый этаж поднялся, хотя спускался на лифте. Во рту до сих пор был неприятный привкус чая, в зубах до сих пор мешались мелкие зерна из салата. Часы показывали, что прошло полчаса. Полчаса, вырванных из плана. Никому не нужных, бессмысленных и бестолковых. Игорь Борисович злился на потерянное время, на дурацкий салат и на невкусный чай.

По широким свободным тротуарам, вдоль шумной дороги он поплелся домой. Уже у метро вспомнил, что забыл у сына ящик с инструментами. Вернулся. Прошел через двор, уже почти подошел к подъезду, как увидел Надю с мешками мусора. Она, не заметив его, быстро прошла к мусорным бакам. В зеленые контейнеры полетели два черных мешка и новенькая красная коробка со смесителем. Потом вышел Андрей, они сели в такси, машина, ожидающая их, быстро тронулась и скрылась в арке.

Ночью Игорю Борисовичу не спалось. Он ощущал свое тело – большие колени, спину, живот. Ворочался на кровати, пытаясь забыться, прислонял к уху часы с умиротворяющим и ровным постукиванием, но привычные «тэк-тэк-тэк» не успокаивали. Около

По его голове, лбу и носу потекла прозрачная мыльная жижа. Крупными пятнами растеклась на клетчатой рубашке и маленькими пятнышками отделилась на брюках. Малыш захохотал, отец запсиховал.

- Так, короче. Давайте тут без меня заканчивайте, я к машине пошел.
- Ну Леша, – закапризничала жена.
- Нормально, нормально. – Андрей пытался успокоить семейство. – У нас все есть уже, все снимки, все сделали. Давайте я теперь вас отдельно снимаю, – предложил он молодой маме.

Пока старший присматривал за младшим, а отец курил в сторонке, мама наслаждалась позированием. Возможно, она не была так уж прекрасна, но даже цветок подорожника, если умело засунуть его в букет из работ визажиста, стилиста, парикмахера и модельера, хоть и теряет самобытность и натуральность, но преобразуется, становится ярким, контрастным, видимым.

- А вас камера любит, – подбодрил. А про себя выругался. – Кого камера любит, тот подписчиков накрутит, – снова пошутил Андрей.

Мама захихикала:

- А я блогер, между прочим. Пишу про семейные ценности и про силу женской энергии. Подписывайтесь и жену свою подпишите.
- Обязательно! – И Андрей достал смартфон, но не потому, что хотел подписаться на блогершу, совсем не вызывающую доверия, а потому, что ему кто-то звонил.
- Я работаю, давай быстро. – Андрей резал слова. – Нет, я не хочу ни с кем говорить. Нет, не надо меня записывать. Я? Я лучше всех. Все, работаю, пока. – Андрей повесил трубку и снова начал менять объектив. Руки его начали опять дрожать, губы тихо и автоматически выругались.

На фоне муж и отец орал на детей, один из которых хотел поиграть в мяч-реквизит, а другой устал настолько, что не реагировал на команды отца.

- А можно посмотреть? – попросила мамаша, когда Андрей закончил.

Андрей показал фотографии, на которых запечатлена картинка идеальной счастливой семьи.

- Здорово, я довольна, – заявила она.
- Ты скоро?! – гаркнул муж, который не мог успокоить ревущего малыша, и мама заторопилась к семье.
- До свидания, у меня еще свой канал на ютубе, мы там с мальчишками смешные ролики снимаем. Жду фотки! – прощалась она, усаживая младшего в коляску.

Когда семейство скрылось из виду, Андрей сложил фотоинструменты, сел на холодный газон парка. Кроны деревьев просеивали солнечный свет, журчали птицы, май всегда показывал природу через самый контрастный фильтр – все было так чисто, блестяще и живо: всё и отовсюду смеялось, блестело, слепило, цвело, распускалось, обнималось и торопилось жить. Андрей прилип глазами к спиленному пеньку напротив. На ровном срезе бывшего дерева выросла тонкая веточка с несколькими листочками, раскачивалась под весенним ветром, тянулась вверх, зеленая, юная и настырная. Андрей долго смотрел на нее, пока уставшее зрение не начало размывать фон, потом громко выругался, беспричинно и грубо, затем собрался и поехал домой.

Дверь открыла жена.

- Тебе привет, зови на обед! – Андрей протянул ей большой букет пышных белых хризантем.
- Андрей. – Она произнесла его имя тихо и тревожно, будто цветы напугали ее. – Как ты?

Андрей снял кроссовки, повесил ветровку в шкаф, сумку оставил у порога.

- Лучше всех, а что такое? – Андрей чмокнул жену в щеку. – Поставь цветы в вазу.

В ванной Андрей намылил руки, долго растирал скользкую пену сначала на ладонях, потом на пальцах и между пальцами – задумался и так крепко сжал руки, что почувствовал тонкие костяшки. Замер. Почувствовал, как кровь нагрела уши и щеки, включил холодную воду и умылся.

- Поставила уже? – крикнул жене.

Она стояла рядом, сложив руки на груди и смотря в сторону, будто ее кто-то отчитывал.

- Андрей, ты точно в порядке? Может, все-таки я позвоню Ольге? Она правда хорошая, я к ней ходила полгода назад.

– Кто с психологом болтает, тот богато поживает. – Андрей вытер руки и лицо синим полотенцем и поцеловал жену в лоб. – Что на ужин?

Еда и грусть несовместимы. Невозможно говорить о еде, думать о еде и предвкушать еду и при этом грустить. Разговоры о еде между супругами – всегда мирная, успокаивающая пауза.

- Запеченная рыба, – ответила жена.

Ужинали молча.

- Представляешь, семейка бешеная попалась. Жена – дурочка такая, муж – хамло. Ведут блог о семейных ценностях. – Андрей положил в тарелку перламутрового риса, запеченной белой рыбы в тающей шапке из сыра и сливок и разноцветных овощей, отполированных оливковым маслом. – Она еще какую-то женственность пропагандирует.

Жена ела молча. Андрей засунул в рот кусок рыбы, но не почувствовал вкуса. Встал, чтобы налить в стакан воды. Подошел к крану, но тот ответил шумящей пустотой.

- Он протекал сильно, я в стояке воду отключила, – объяснила жена. – Давай я открою, – встала и заторопилась к стояку.
- Не надо. Прокладку давно надо поменять. Сейчас сделаю.
- Андрей, это не обязательно, я завтра вызову мастера, сядь, поешь.

Но Андрей уже собирался. Молча она проводила его до двери.

Андрей поехал на строительный рынок. Он никогда не ремонтировал краны, у него в доме не было даже инструментов. Но сейчас это дело казалось ему спасением.

По дороге он цеплялся за детали: шум метро, яркие ботинки девушки напротив, красная кнопка связи с машинистом, – только они, как хрупкие травинки, за которые цепляешься, чтобы не упасть в бездну, позволяли Андрею не провалиться в безвременье и ощущать, нащупывать мир вокруг. Про себя он напевал пошлую матерную песню. В сложные периоды жизни всегда тянет на все низкопробное, вычурное, грубое и безвкусное.

В вагон вошла мама с ребенком лет шести. Мальчик держал в руках шарик из «Макдоналдса». Андрей улыбнулся ему, а потом так и сидел с застывшей улыбкой, пока вагон не остановился на нужной станции. Только тогда Андрей расслабил мышцы лица, опять выругался и вышел из вагона.

Андрей долго ходил по рынку, всматривался в товар, в котором совсем не разбирался, имитировал интерес, притворялся вредным покупателем. На самом деле ему было все равно. Он остановился возле какой-то палатки и, снова сфокусировавшись на каком-то блестящем пятне, завис, замер, как манекен.

- Что вам нужно, молодой человек? – обратился к нему немолодой уже продавец, деловитый, с заинтересованным взглядом.
- Мне? – опомнился Андрей. – Ничего, я сам.
- А вы у нас что-то покупали, да?
- Нет, я тут первый раз.
- А, вспомнил! – продавец вдруг замаялся, примолк, постеснялся. – Игорь Гвоздев? Вы его сын, так?

Андрей резко вернулся в реальность. Закивал, смутился, почувствовал, как опять греются уши и щеки, как будто его застучали за чем-то стыдным.

- Соболезную. Я сегодня узнал. Хороший был человек. Сильный, дисциплинированный, умный,

душевный такой. Мы с ним болтали часто, он шутил все время, поговорки какие-то, прибаутки. Стихи, наверное, сочинял? – Продавец выдержал паузу. – Соболезную. Хороший был человек. Попрощались уже?

Андрей не сразу понял, о чем его спросили. Когда осознал, ответил:

- Да. Позавчера.

Андрей вышел на улицу, на воздух, в пространство. Пошел быстро, размашисто, молча. В голову ничего не лезло, глаза опять ничего не видели, только цеплялись за бестолковые детали: сумка у женщины, лай собаки, сигнал машины, голос прохожего, дерево, вывеска, кто-то толкнул, выругался.

Он шел долго и только в каком-то сквере позволил себе присесть на скамейку. Сидел долго, похожий на ржавый погнутый гвоздь, одинокий и бесполезный.

Там, на лавочке, недалеко от строительного рынка спального района Москвы, Андрей впервые почувствовал себя очень и очень старым.



нием, что не стал такими, как учительница, Леха или отец.

Хорошие люди в жизни Тимура, конечно, были. Например, его мама. Если бы Тимуру дали задание придумать, как назвать маму, он назвал бы ее Тишина. В тишине спокойно, уютно, безопасно и можно плакать. Иногда мама сажала его на колени, обнимала, шершавой от мозолей рукой гладила по голове и пела песни. Тимур сидел на коленях, пока не засыпал, а потом мама аккуратно перекладывала его на кровать и накрывала шерстяным одеялом.

Вторым хорошим человеком в его жизни была учительница музыки. Он прятался в ее кабинете, когда знал, что Леха и его банда ждут за школой. Она иногда угощала бутербродами и чаем с чабрецом, который приносила из дома в длинном термосе, похожем на военный снаряд. Тимур прослушал почти все пластинки и кассеты, которые нашел в ее кабинете, выбрал фаворитов – в основном из эпохи романтизма. Он мог напеть наизусть почти любое произведение и с первых аккордов угадывал номер сонаты и опус сочинения. Учительница музыки первой заметила способности Тимура. «У мальчика абсолютный слух», – говорила она матери, но мать смеялась – в нашей деревне никто за слух не платит. «У него уникальная музыкальная память, он очень восприимчив к музыке», – учительница была настойчива и очень просила отдать Тимура в музыкальную школу. Полгода Тимур занимался в школе искусств по классу фортепиано, но так и не смог ничего выучить. Ноты перед ним прыгали так же, как и буквы в книгах.

В восьмом классе учительница музыки уехала из их маленького поселка в город и на прощание подарила Тимуру новенький mp3-плеер и несколько дисков с произведениями классиков. Так в маленькой серой коробочке у Тимура появился мир, в котором он наконец мог быть счастлив.

После школы жизнь Тимура двигалась ровным запрограммированным ритмом. После девятого класса он уехал к двоюродной бабушке в Москву, поступил в колледж и кое-как отучился. После колледжа его ждала армия – год жизни без музыки, об этом времени Тимур больше всех прочих хотел бы забыть.

После армии Тимур вновь вернулся к двоюродной бабушке в Москву и начал искать работу. Несколько лет подрабатывал разнорабочим, пока однажды не устроился в такси. Он полюбил свою работу на второй день, да и как было не полюбить – водителем Тимур мог целыми днями слушать музыку в декорациях богатой, нарядной и огромной столицы.

Тимур был молчаливый, тихий и почти незаметный. Наверное, поэтому у него почти не было друзей. Свое одиночество, диковатую стеснительность, бессилие выразить чувства и мысли Тимур прятал в музыку. Слушая классику, Тимур жадничал – забирал у нее все, что мог, – концентрированный смысл, жизненный опыт, чистые эмоции. Как часто он оставался на стоянке, делал музыку громче и закрывал глаза. Как часто он накатывал круги вокруг двора и приезжал позже только лишь для того, чтобы дослушать арию. Как часто он общался с клиентами через музыку, ставя им произведения, которые отражают его чувства, и как часто его не понимали и не хотели услышать. Музыка рассказывала ему истории, показывала картинки, погружала его в мир без образов, запахов и ощущений, но полный неосознанного смысла, живой поэзии, воплощенных чувств и растворившихся историй.

– Вивальди, «Зима»! – Иногда Тимур все же заговаривал с пассажирами. Особенно когда звучал Вивальди – тогда Тимур становился смелым, дерзким и решительным. Слушая «Времена года», он непроизвольно давил на газ, агрессивно обгонял и резко тормозил.

– «Танец рыцарей», Прокофьев, – сообщал Тимур пассажиру, и тот немного пугался, потому что Тимур казался ему не в меру воинственным, напряженным и агрессивным.

– А это «Лебедь», Сен-Санс, – говорил Тимур, и шея его вытягивалась, плечи расслаблялись и лопатки расплавлялись, и если бы не руль, за который нужно держаться, не педали, на которые нужно жать ногами, и если бы не дорога, за которой нужно следить, то Тимур бы затанцевал прямо там, в машине, плавно и грациозно двигая руками, как крыльями, и держа балетную осанку.

Тимур так сильно любил музыку, что однажды музыка ответила ему взаимностью.

Летним вечером музыка реальная, пахнущая фруктовыми духами и одетая в веселье и молодость, мелодия в человеческом облике, воплотившаяся муза села к нему в машину и попросила отвезти домой. Он сначала услышал ее, а только потом увидел – девушка-виолончель, с глубоким, низким, чистым голосом и длинными пальцами, как у пианиста.

Она была похожа на мятное дыхание, на внезапный ветерок в душной комнате. У нее были каштановые волосы и зеленая блузка. Каждый раз, когда Тимур хотел посмотреть на нее, чувствовал, как сильно потеют его ладони.

Тимур сидел в машине и осознавал реальность. Шуман не лучший вариант для свидания, думал он. Вот если бы Сен-Санс! Как только Елена вышла из машины, он заметил, что она забыла свою черную сумочку и телефон и ушла к подъезду только с ключами, которые вертела в руке по дороге. Тимур был хорошим человеком, и, конечно, сразу подумал, что ее нужно окликнуть, но смалодушничал, испугался, что, отдав ей забытые вещи, он больше никогда ее не увидит.

Девушку звали Елена. Когда она села в такси, луна плавала в тюле облаков. Взболтанный город уже давно успокоился и осел, оставив приглушенный шум дорог и долгожданную прохладу. В машине играл Чайковский, адажио из «Лебединого озера». Солировала скрипка, грацией тянулась мелодия, плавала на поверхности аккомпанемента. Что необычного было в ней? Чем она отличалась от других пассажирок? Возможно, тем, что, поздоровавшись, назвала свое имя? Или тем, что села на переднее сиденье? А может быть, тем, что, уточнив адрес, радостно воскликнула: – О, это же «Лебединое озеро»! – И она замахала руками, изображая балет, а потом засмеялась. – «Лебединое озеро»! Балет! Чайковский! – ответил Тимур.

Потом он замолчал. Он смотрел на дорогу – Садовое кольцо, набитое машинами в несколько рядов,

обрамленное широкими тротуарами с витринами магазинов и кафе. Тимур вдруг вспомнил родной поселок, дорогу от школы домой, вспомнил учительницу музыки, ее подарок – плеер, с которым Тимур не расставался восемь лет, вспомнил маму, ее песни и шершавые ладони на своем лбу, тепло ее груди и ромашковый запах шеи.

– Я еще Вагнера люблю. И Листа. И Мендельсона, – добавил Тимур, но хотел сказать, конечно, совсем другое.

Тимур чувствовал, что Елена смотрит на него так, будто нашла в нем нечто оригинальное и удивительное. Но что? Тимур украдкой посмотрел на себя в зеркало заднего вида. Лоб блестел от пота. Глаза серые, большие, чуть напуганные, нос обычный. Остальное неважно. Тимур нахмурил брови, чтобы выглядеть смелее.

– А перед сном я люблю слушать Шостаковича, – соврал Тимур.

Перед сном он слушал Шопена. Ложь имела неожиданные приятные последствия.

– А вы и на концерты ходите? – спросила Елена.

– Нет, – ответил Тимур и с выражением жалости и скорби посмотрел в боковое окно. Хорошо, что они стояли на светофоре. – Не могу. Работа.

– Я вот знаю человека, он очень хотел сходить на концерт рок-группы, а у него работа была, и он билеты за полгода купил, а потом его на какую-то важную конференцию отправили, а он отказался. Ему говорят – не поедешь, уволим. Он концерт пропустил, на конференцию съездил, а на следующий день сам уволился. В общем, надо свои мечты исполнять.

Тимур переключил песню и ответил:

– Бетховен. «Лунная соната». Первая часть. Моя любимая.

Когда первая часть подошла к пику взволнованности, когда пассаж из терций устремился ко второй октаве и, полный трагичных предчувствий, сникал к нижним нотам, Тимур остановился у дома Елены. Когда прозвучал последний аккорд лунной драмы, Елена сказала:

– А давайте завтра сходим на концерт классической музыки! – Не дожидаясь утвердительного ответа, она достала телефон, открыла сайт, нашла нужный концерт. – Вот! Концерт Шумана для фортепиано с оркестром. В большом зале консерватории Чайковского. В пятницу. Беру билеты? – Елена посмотрела на Тимура. Из магнитолы заиграла «Шутка» Баха. – Все, электронные билеты купила! Концерт в эту пятницу в семь часов.

Отчего люди совершают неожиданные добрые дела? По велению милосердного сердца или по напутствию ангела-хранителя? От того ли, что заботиться о других гораздо проще, чем о себе? От того ли, что помощь другим – часто всего лишь крик о том, как сильно самому нужна забота? А может, лишь от того, что скука жизни требует приключений? В машине звучали этюды Шопена, Тимур пытался найти, выслушать ответ, но не мог ни на чем сосредоточиться.

– Встретимся в холле, – прервала его мысли Елена, выпорхнула из машины и скрылась в подъезде.

Тимур сидел в машине и осознавал реальность. Шуман не лучший вариант для свидания, думал он. Вот если бы Сен-Санс! Как только Елена вышла из машины, он заметил, что она забыла свою черную сумочку и телефон и ушла к подъезду только с ключами, которые вертела в руке по дороге. Тимур был хорошим человеком, и, конечно, сразу подумал, что ее нужно окликнуть, но смалодушничал, испугался, что, отдав ей забытые вещи, он больше никогда ее не увидит. В сумочке лежали красный кошелек, студенческий билет, помада и пудреница. Тимур открыл пудреницу и вдохнул запах карамели. В маленьком зеркальце, испачканном манкой пудры, он увидел себя – смелые глаза, орлиный нос, мужественный лоб.

Пятница. Без пятнадцати семь. В концертном холле Тимур чувствовал себя крошечным и прозрачным – высокие потолки давили своим величием, люди вокруг были полные достоинства и образования, и даже сквозняки как будто толкали во вспотевшую спину.

Елена пришла после второго звонка. Она была такой же красивой, но много тревожилась, общалась стандартными короткими фразами и постоянно с кем-то переписывалась. Они прошли в концертный зал и сели на места. В зале было трепетно и торжественно. Тимур осматривался. На стульях с овальными спинками рассаживались люди. Светлый зал был украшен барельефами, лепными декорами и орнаментами. Под громадными окнами висели портреты-медальоны композиторов. Некоторых Тимур узнал. Большой люстры на потолке Тимур не увидел, а на светильниках и бра, развешенных на стенах, заметил главные эмблемы музыки – лиры и трубы. Под этими торжественными атрибутами, под нарисованными взглядами великих классиков, среди людей в костюмах и платьях, с нотами в руках, Тимур, таксист, родом из далекого южного поселка, неожиданно почувствовал невыразимую общ-

ность и причастность. Он впервые в жизни ощутил себя в своей среде и на своем месте. Хотя место, признаться, было неудобным.

Концерт начался, оркестр заиграл. Тимуре казалось, что он физически ощущает объятия, а когда тебя кто-то обнимает, совершенно невозможно думать. Когда тебя обнимают, невозможно испытывать что-то, кроме нежности. Как много вокруг величия, как много жизни и как много музыки, думал Тимур. На секунду он посмотрел по сторонам, чтобы бессловесно разделить пережитые чувства. Елена ковыряла маникюр. Сосед справа дремал, зрители сзади сидели с равнодушными отрешенными лицами. Тимуре стало неприятно. Как несправедлив мир, грустил он. Как бесчувственны и закрыты люди. А впрочем, думал Тимур, может, все наоборот. Может, этот концерт – его законная компенсация за все обиды детства. И такой компенсации Тимур был вполне удовлетворен.

То, что Елена так и не вернулась из уборной, Тимур заметил не сразу. Расстраивался недолго, после музыкальных объятий обижаться не получается. Домой он возвращался пешком. Шел долго, устал и проголодался. Шаги рождали в его голове мысли, а мысли требовали шагов. В голове распутывался клубок смыслов. Тимур остановился только тогда, когда почувствовал, что его носок стал влажным от крови – вскрылась мозоль, натертая новыми дешевыми ботинками. И как только он отвлекся от своих эмоций на эту несуразную мелочь, в голове из распутанных смыслов связалась его жизненная цель.

Оркестр, догадался Тимур. Я создам оркестр. Скрипка, фортепиано, альт, арфа и... Оркестр, чтобы говорить с людьми через музыку. Оркестр, чтобы научить людей слушать. Оркестр, чтобы никого не оставить равнодушным. Но как, разгонял Тимур мысль, спускаясь в метро. Жениться. Пять детей. Скрипка – раз, фортепиано – два, альт – три, арфа – четыре. И аккордеон. Пять. Тимур доковылял до своего подъезда. Сначала нужно жениться. А дальше как-нибудь само пойдет, уверенно решил Тимур, когда захлопнул за собой дверь квартиры.

Через год Тимур женился. На милой девушке, которую звали Замира. После свадьбы ему пришлось сменить работу, съехать от двоюродной бабушки и окончательно повзрослеть. А еще через год у Тимура родилась девочка, красивая, как луна в тюле облаков.

подружились. Илюша оказался умным, талантливым мальчиком. Он дочитывал книги, дослушивал песни, дописывал блокноты, заканчивал картины. Еще Илюша неплохо говорил на английском, изучал робототехнику и интересовался астрономией. Неплохо для пятиклассника. Илюшу выписали из больницы, но Лена продолжала с ним переписываться. Месяц назад Илюша снова чем-то заболел, попал в больницу и грустил в больничной палате. Когда-то в переписке он сказал, что очень хочет себе электронную скрипку. Чтобы можно было играть дома или в больнице, поздно вечером или рано утром и никому не мешать. У Илюши было много талантов, но не было возможностей, а у Лены – наоборот.

И сегодня Лена решила устранить жизненную несправедливость. Она долго изучала модели, читала отзывы и выбрала наконец одну из самых дорогих моделей. Нажала кнопку «в корзину» и быстро оформила заказ. Потом зашла на сайт в «ВКонтакте» и написала Илюше.

Привет. Как ты?

Привет. В больнице. Но тут в этот раз весело. Ребята интересные такие. Я им про астрономию рассказываю. Мне подарили энциклопедию, я ее почти уже всю выучил.

О, а я Весы по гороскопу)

Весы сейчас на небе не видны.

Луна во Льве?

Типа того) Но это не совсем астрономия, это астрология.

Астрономия)

Ногастрия) Поищу в созвездиях ноги))

Ищи) у меня для тебя тоже подарок есть. Привезу завтра утром.

Лена закрыла ноутбук. Жизнь не наполнилась мелодиями, но день сразу стал чуточку прекраснее.

Скрипку привезли очень быстро, уже к обеду. Илюша непременно должен стать знаменитым музыкантом. Лена знала, что он очень одарен. Из-за болезни Илюша оставил занятия, но сейчас снова хочет заниматься, и как это здорово и чудесно. Лене очень хотелось видеть его на сцене, подростком, красивым, во фраке, со скрипкой и тихо гордиться – ей очень хотелось быть причастной к рождению новой звезды. Лена представила себя на сцене, под слепящими софитами. Представила, высоко она стоит над зрителями, и как все замирают, слушая ее. Наигравшись, она сложила скрипку в коробку, обмотала ее атласной желтой лентой и долго мучилась, завязывая праздничный бант. Осталось забрать свой телефон.

Собираясь на встречу с таксистом, Лена зашла на кухню, схватила один свежий, горячий сырник, полированный маслом, макнула в облачно-белую сметану и съела. Надела куртку, обулась. С удовольствием посмотрела на себя в зеркало. Брызнула на шею духами. Красивая. Милая. Любимая. Чтобы возлюбить ближнего своего, нужно сначала полюбить себя.

Лена зашла в лифт. Непривычно было слышать гул мотора и скрип дверей – обычно уже в лифте Лена была в наушниках. Лена вышла из подъезда. Город окропил энергией, воздухом и симфонией из детских голосов, шума машин и чириканья птиц. Дынный солнечный свет заставил зажмуриться. Скрипку должны доставить сегодня вечером. Тело ответило ей на фантазию – и само зашаталось в такт, будто действительно слыша музыку. Лена шла по улице, пританцовывая.

Заполучив наконец телефон, Лена увидела несколько непрочитанных сообщений от Илюши.

Привет) Ты приедешь???!? Меня мама хочет забрать в пятницу или в субботу уже! На посту сказали могут до девяти пустить, но только если хорошо попросить)

Уже? Поздравляю) Выздоровел, ура)

Ответа не было, и Лена забеспокоилась – вдруг он уже собирается домой? А скрипка? А подарок? А восстановленная справедливость? Лена занервничала и поспешила домой.

Времени было мало. Нужно было успеть в больницу до девяти. Не хотелось встречаться с родителями Илюши, было почему-то неловко. Не хотелось ехать к нему домой. Не хотелось столкнуться с матерью Илюши завтра утром. Поэтому скрипку доставить нужно было обязательно сегодня.

Она вызвала такси, помчалась домой, не снимая наушников, схватила упакованную скрипку и помчалась в больницу. Она бежала на автобусную остановку, и в ушах у нее играла электронная музыка. The Chemical Brothers, но Лена опережала их ритм. Она шла быстро и никак не могла найти композицию в том же ритме, все, абсолютно все песни отставали от ее шага. На остановке она начала перешелкивать песни одна за другой, быстрее, чем на пульте телевизора. Песни успевали только запеть одной нотой, а некоторые и вовсе пролистывались. Лена ходила взад-вперед и, проматывая песни в плей-листе, пыталась ускорить время.

В автобусе она взглянула на часы и немного успокоилась. Успеваает. Она представляла – вот она приходит в больницу, и с таким подарком ее, конечно, не пускают. Тогда она очень просит спустить-

ся одного мальчика, музыканта. Илюшу все знают уже, каждая медсестра, и, конечно, же разрешают ему спуститься. Он выходит, худой, большеглазый, улыбочивый. Она вручает ему подарок. И обязательно берет обещание, чтобы он занимался каждый день и снова выиграл на конкурсе. Она видит его восхищение и быстро удаляется – в конце концов, не для его эмоций же она все это делает. Фантазии были оформлены вариациями Паганини из нового плей-листа Лены. Остановка, Лена вышла из автобуса и переключила музыку на инди-рок. Coldplay, Keane ее всегда успокаивали.

- Мне в 603-ю палату, – сказала Лена дежурной медсестре.
- Посещения закончились уже, – ответила она.
- Мне просто передать подарок, а то завтра мальчика выпишут, и я не успею.

Медсестра долго смотрела на нее, потом уточнила, кто именно из 603-й палаты ей нужен.

- Илюша Конов. Он у вас тут часто лежит. Завтра его должны выписать. – Лена поставила подарок на пол, сняла большие наушники и спокойно стала ждать, когда медсестра разберется.
- Илюша Конов? – Медсестра долго смотрела в книгу, а потом посмотрела на Лену и сказала: – А его уже нет. Ушел. В смысле – он умер сегодня.
- Илюша Конов, – повторила Лена. – Я к Илюше Конову.
- Он умер. Сегодня. Вы ему кто?
- Я? Я просто к Илюше. Подарок принесла. Я не поняла, а что с Илюшей?
- Не знаю, но он же давно болел. Метастазы. Подробностей не знаю, с родителями говорите. – И медсестра опять скрылась за своим столом.

Лена долго стояла там, как дурочка. Потом опомнилась и скорее побежала из больницы. Только бы не столкнуться с его мамой, думала Лена. Почему-то это ей сейчас казалось самым страшным и неприятным.

Как это он умер? Почему ей не сказал? Когда он успел? Она шла домой тем же маршрутом, на полном автомате. Зачем приперлась с этой скрипкой. В автобусе Лена достала телефон, открыла сообщения и написала Илюше «Привет». Ждала ответа, но его так и не было.

До подъезда Лена плелась в полной тишине. Ни о чем не думала и ничего не слышала. В автобусе она сидела и смотрела в одну точку, она видела эту точку, как тогда трещину на потолке, и ей хотелось, чтобы ничего, кроме этой точки, в мире не су-

ществовало. И вообще, чтобы этот мир, который она любила, и она сама растворились в этой точке и наступила бы вечная тишина. Но вечерний город бурлил, кипел, смеялся и жил обычной жизнью и даже не думал останавливаться и замолкать. Весь шум, вся музыка, вся жизнь вывели из себя тем, что куда не исчезли, а все так же существовали, и будут существовать столько, сколько будет существовать музыка. А Илюши больше не будет.

Дома вкусно пахло мамиными котлетками, но Лена не стала есть. Она закрыла дверь в своей комнате, легла на кровать, забросила наушники под кровать. Лена долго смотрела в потолок и вдруг вспомнила, что забыла скрипку в автобусе. На миг ей показалось, что на идеально побеленном потолке образовалась огромная трещина. Лена закрыла глаза и заплакала.



СКАЗКА О РЫЦАРЯХ



АНДРЕЙ ЦУНСКИЙ
Родился в 1967 году в Петрозаводске. Писатель, журналист. Лауреат I премии nonnурса «Арт-Тенета-97» в номинации «Сборник рассказов» и II премии

nonnурса «Арт-Тенета-99» в номинации «Повести и рассказы». Автор книг «Неприличные истории», «Юбилей», «Горячая вода». Постоянный автор портала godliterature.ru.

Париж! Разве это только журчание аккордеона в мюзете, песни Ива Монтана и тоска Хэмингуэя по празднику, который вызывает ностальгию, а стало быть – не всегда с тобой? Город этот существует, в чем сомневаться не приходится. Но все же он в большей степени – мечта.

А мечтают все. В одном маленьком городе целую сеть кондитерских (уже сжавшись до одного или двух маленьких заведений) назвали «Парижанка». Кому не хотелось бы угоститься парижскими сладостями вдалеке даже от русской столицы.

Живущие в Париже люди тоже, как ни странно, мечтают о нем. Пусть парижане буквально ходят по всей этой красоте и романтике, скучно и повседневно топчут ее ногами. Исторические личности и литературные герои не встречаются им в метро или на парковке. И если был парижанин в Лувре хоть раз – так уже хорошо. Достижение. Хотя многие кондитерские там стоят по сто, по двести и даже больше лет – а это не меньшее достижение.

И разве все парижане знают, кто такие Джанго Рейнхардт и Стефан Грапелли? А Майлз Девис? А кто сейчас вспомнит Жильетт Греко? И уж редкий любитель музыки скажет вам, на какой именно скрипке приводил в неистовство публику Иегуди Менухин, –

вовсе не парижанин? Впрочем, парижанином может считать себя и даже стать им – каждый.

Давайте договоримся. Мы вместе мечтаем. Сочиняем сказку про великую скрипку, про знакомых нам людей, но называть никого по имени не будем, если где в чем ошибемся – не беда, это просто наша фантазия, а она допускает неточности – на то и фантазия. Да простится нам в чем-то совершенно лишний, согласен, пафос – так просто сочтем его за пародию. Попробуем переместиться в Париж, и убедимся, что...

...Даже в Париже можно оказаться в очереди. Конечно, есть важные господа, которые не станут тратить времени, а пошлют вместо себя курьера. Но в очередь, о которой ведется речь, секретарей и прислугу посылают только те, у кого тугой кошелек – и такое же тугое ухо. Главный концертный зал великого города смеется над такими всеми своими креслами! Выбор мест очень невелик, самые лучшие всегда будут заняты людьми, принадлежащими к элите из элит, – людям с самым тонким в Париже, да и не только в Париже – слухом. Эти места будут зарезервированы для особых гостей всезнающими администраторами. Ох, и хлопотная же эта «элитная» публика! В дни выступлений Рыцаря в одном

Маршрут – это серьезная вещь, если с каждым домом тебя связывают воспоминания. Воспоминания – это люди. И хорошо, если те самые люди есть еще там, если среди игроков в шары в парке можно встретить знакомое лицо, и как важно, чтобы человек с удочкой на набережной был тот же самый.

из самых прославленных залов Европы собираются композиторы, дирижеры, исполнители, критики. И сколько между ними бывает ненависти и неприязни, обид и капризов, даже если не брать в расчет издревле присущую этому нервному цеху ревность! Тут они черпают прямо из воздуха аргументы для теоретических баталий и хриплых споров о форме. Кому и где достанутся кресла, кто рядом с кем окажется, столкнется в проходе или гардеробе... – тонкая работа и очень даже опасная у тех, кто раскладывает в конверты билеты.

Президент, премьер-министр, равные им по рангу гости из других стран и даже прибывшие с визитом августейшие особы оказываются здесь в самой красивой – и не самой лучшей для прослушивания ложе. Она придумана для того, чтобы показать, кто почтил событие вниманием, не заботясь о том, что даже у этих слушателей могут оказаться восприимчивые к музыке уши. Заметим, однако, что такое случается редко. Но случается ведь.

Но и у оставшихся в зале мест, на которые можно купить обыкновенные (хотя и весьма дорогие) билеты – представьте себе – в кассе, тоже есть свои особенности. И здесь кому-то важно, с кем рядом провести два часа, кто-то желает уютно притулиться там, где ему никто и ничто не мешает. Кому-то важно «показаться», а кому-то – остаться

незамеченным. Но пожелания учтены не будут. Администраторы демонстративно неподкупны, кассир даже не смотрит на лица жаждущих желанных мест в партере, капельдинер царственно сопровождает в ложу или к креслу персон, известных всему миру. Впрочем, не стоит обольщаться, невозможного нет и здесь.

Лучший звук – в пятом, шестом, седьмом ряду – и на самом верху. Публика там помоложе, хотя и семидесятилетний старик может там с озорным азартом ждать, когда же, наконец, рассядутся все эти миллионы, караты и ордена внизу и выйдет тот, кого здесь действительно ждут.

Почтенного возраста человек, впрочем, не из бедных, хотя теперь это не сразу и разглядишь за мятым пиджаком, довольно наблюдал за тем, как разбредались недовольные после того, как окошко кассы захлопнулось. Темные личности, готовые «помочь» невезучим за многократно вздутую плату, оживились, и кое-кто, в сердцах выругавшись, уже выложил им изрядные суммы. Многие еще мялись и прикидывали, во сколько других радостей, менее изысканных, но ежедневно необходимых, обойдется им «помощь» барышника. Остальные вздыхали и спускались по каменным ступеням на тротуар, где растворялись в быстротекущем городском *perpetuum mobile*.

И загрустил пожилой господин, потому что у него-то в кармане было именно то, чего все здесь так жаждали. И было у него «этого» столько же, сколько бывало и обычно, – но теперь вдвое больше, чем требовалось. И угнетало его обстоятельство, что сложная задача требовала решения, а вот решения у него никакого не было.

Он собрался уйти, и стало еще печальнее – раньше для этого дня был у него совсем другой маршрут. Сегодня оставалось только идти домой – или куда хочешь, а не хотелось никуда, домой уж точно. Он стал придумывать себе планы на ближайшие часы – как пойдет в ресторанчик, где бывало за долгие годы больше знаменитостей, чем лежит на парижских кладбищах, и как станет он за стаканчиком вина и чем-нибудь лакомым предаваться воспоминаниям. А на стол ему подаст человек по имени Ренэ, который помнит почти всех приходивших сюда великих и не великих и с которым и пожилой господин сам был знаком больше десятка тысяч дней. Это, конечно, неудобно, когда старый друг подает и наливает тебе вино, которое сам не смог бы себе позволить, да еще и меняет перед тобой тарелки, но ничего – у них скоро будет шанс посидеть на равных, и подавать будет кто-то другой.

Но важно ведь не только решить, куда пойти, но и как. Маршрут – это серьезная вещь, если с каждым домом тебя связывают воспоминания. Воспоминания – это люди. И хорошо, если те самые люди есть еще там, если среди игроков в шары в парке можно встретить знакомое лицо, и как важно, чтобы человек с удочкой на набережной был тот же самый. Сегодня нельзя испортить такое хрупкое в старости настроение. Нежелательная встреча – ерунда. Невстреча, или невозможность встречи, о которой напомнить может любая мелочь, – вот что ранит все сильнее с каждым годом.

Тем временем от одного из билетных жуликов отошла пара. Пара – это всегда интересно. Любопытный господин прислушался к разговору двоих, которым казалось, что сегодня у них день неудач.

- Все же я что-то не пойму... – сомневался молодой человек, пересчитывая общие деньги, извлеченные из своего грубоватого бумажника и смешного девичьего кошелька. – Чем так плох концерт, который будет в пятницу...
- Но на него мы все же могли купить билет – а ты замешкался, вот его и увели у нас из-под носа!
- Да, но ты заметила? Все, кто не добыл билетов на четверг, ушли с кислыми физиономиями. А значит, в пятницу концерт почему-то хуже. А я на то, что похуже, с тобой не пойду.
- Ну, спасибо, конечно. Но, знаешь, это было бы дешевле, чем покупать теперь билет на сегодня у этих типов. – Она сморщила гримаску, очень точно изобразив одного из спекулянтов. – А мы и тут замешкались, теперь и у них ничего нет...
- Я обожаю этого скрипача не меньше, чем ты, хотя и понимаю в музыке не так много. Но ты же знаешь: если я сталкиваюсь с загадкой, я буду терзаться до тех пор, пока ее не раскрою. Поэтому я и задумался.
- Какая загадка? В пятницу Рыцарь не дает бисов. И концерт заканчивается на полчаса раньше. Только и всего...
- Я не большой знаток, но, может быть, бисы – это и есть самое главное? А кроме того, всегда бисы есть, а в пятницу их не будет. Почему?
- Ну... Может быть, он просто устает. Он ведь в детстве попал к педагогу, который разглядел в нем талант, но не обратил внимания, что Рыцарь – физически далеко не Паганини, в том смысле, что для скрипача у него очень короткие руки. И в детстве Рыцарь правую руку переиграл. И к концу недели он, конечно, уже не так свеж, как в среду или в четверг. Вот и хочет доиграть поскорее.

– Я видел его лицо по телевизору. Это не тот человек, который дал бы боли взять верх над собой! Это видно каждому, у кого хоть немного зрячая душа!

Господин с интересом поджал губы, скрывая улыбку: он заинтересовался разговором этой пары с первого слова – сначала ему было любопытно, потом смешно, а затем стало радостно. Она – красива, но не избыточно, ее приятная красота не подавляла ее простодушия. А Он был простодушен, хотя не беспечен, но, похоже, никогда об этом не задумывался. Глаза были у Него умные и цепкие – интерес старичка Он не пропустил и сказал своей спутнице, ничуть не повышая голоса и не давая понять, что заметил чужое внимание:

– Пожалуй, раз нам здесь не повезло, стоит придумать что-нибудь попроще, а удачу здесь ловить в другой раз. А?

«Каждый, у кого хоть немного зрячая душа...»

В конце концов, почему бы не посмотреть, насколько этот парень в самом деле сообразителен и зрячие ли у них души. «Вот и посмотрим!» – ехидно подумал господин и словно сам себе строго изрек:

– Никакие болезни Рыцаря тут ни при чем. Все дело именно что в секрете.

Молодой человек хотел удержать свою подругу от разговора с посторонним, но кто сумел бы противостоять женскому любопытству? Она рванулась к пожилому господину и спросила, прямо глядя ему в глаза:

– А вы, может быть, даже знаете этот секрет?

– Я? – неторопливо вытаскивая из кармана пиджака сигару в металлическом футляре, переспросил месье, как будто призадумавшись, стоит ли откровенничать.

И вместо ответа покачал головой и достал старые карманные часы с сигарной «гильотиной» вместо брелока. Обезглавив извлеченную из футляра сигару, он утвердил ее во рту и стал искать по карманам совсем не элегантную бензиновую зажигалку, с которой не расставался лет тридцать пять и которую очень берег.

Тут заинтересовался и друг любопытной красавицы. Он ни слова не сказал и только всмотрелся в глаза старика, когда-то ярко-голубые, а теперь становившиеся с каждым годом все яснее и прозрачнее. Старика такое поведение молодого человека понравилось. Он раскурил сигару, и глаза его предательски прослезилась – любимый некогда табак стал уже крепковат. Моргнув пару раз, он «подсушил» глаза и поиграл сигарой во рту, как бы в задумчивости.

Снова придется ему переживать свою долгую жизнь, и некоторые дни будут в измерении памяти гораздо длиннее и мучительнее, парадоксально умещаясь в несколько часов, предназначенных для сна.

- Да, я этот секрет знаю, – заявил он утвердительно и добавил: – Именно поэтому я всегда в дни концертов Рыцаря освобождаю вечера от других дел. И билеты у меня всегда есть. И на четверг, и на пятницу. На четверг – два, а на пятницу – три.
- Так вы ходите на концерты по четвергам в обществе какого-то искушенного меломана, а в пятницу берете с собой менее взыскательных приятелей? – уточнил молодой человек.
- Если у концерта в пятницу есть секрет, то зачем мне идти туда с теми, кто ничего не понимает? – отвечал месье с ехидной улыбкой.

Если бы девушка начала расспрашивать его, стараясь продемонстрировать свое очарование, тем самым от этого очарования сразу избавившись, или молодой человек буркнул бы «Что-то я вас не пойму» или нечто в этом роде, старик действительно развернулся бы на каблуках и отправился к Ренэ без промедления. Но двое слушали его, как зачарованные.

Тысячи настоящих тайн рядом с вами остаются нераскрытыми именно потому, что вы предпочли их не заметить. Если вы предпочитаете готовую загадку с напечатанным вверх ногами ответом – вот вам ваш выигрыш, вернее, проигрыш, живите скучной жизнью на всем готовом.

Но перед этой девушкой и ее женихом стояло много настоящих загадок, главными из которых были друг для друга они сами. А освещенные мягким мерцанием таких тайн, все остальные тайны тоже становились преисполненными важности. Старик улыбнулся – даже не им, а себе самому, что-то вспомнив, и полушепотом сообщил:

– Это действительно секрет. Но секретами не разбрасываются. Их разгадывают.

Старик сжалился. Да и невыносима была мысль о том, что сегодня вечером такси отвезет его в огромную пустую квартиру, где ему нужен только любимый уютный уголок с торшером и радиоприемником возле диванчика. Снова придется ему переживать свою долгую жизнь, и некоторые дни будут в измерении памяти гораздо длиннее и мучительнее, парадоксально умещаясь в несколько часов, предназначенных для сна. Но эти двое помогли, и нашлось решение, которое он искал.

– Как раз теперь, – таинственно прошептал он, – у меня есть одно важное дело, которое я просто не в состоянии отменить. И вам повезло!

Молодой человек так и стоял с мятыми денежными бумажками в руке, и попытался отдать их старику, но тот властно вложил ему в ладонь конверт с двумя билетами на концерт и махнул освободившейся рукой.

- Это не продается! Видите ли... эти места – особенные. Рыцарь обязательно посмотрит в их сторону. Если именно эти два кресла окажутся пустыми, он будет очень расстроен.
- Но может быть, капельдинер посадил бы туда кого-то другого... – предположила девушка, и старик произнес со строгой определенностью:
- Ни один капельдинер не посмеет посадить на эти места людей, у которых нет таких, особенных билетов. Вас проводит к креслам сам старший администратор. У его окошка будет столпотворение, но он лично проверит, все ли благополучно именно на этих местах.
- А если он спросит, кто мы такие и откуда у нас эти, как вы сказали, особенные билеты? – испуганно спросила девушка.
- Вы ответите ему просто. «Месье, которого вы знаете, – скажете вы, – выбрал нас. И помните – главное, чтобы Рыцарь не расстроился!» Тогда он может спросить, отчего же месье не пришел сам. Вы ответите ему, что месье, к сожалению, не может сегодня соблюсти все условия, к тому же он очень серьезно готовится к завтрашнему вечеру. И больше никаких вопросов не будет. Он тут же оставит вас в покое. Погуляйте пока неподалеку, а мне, с вашего позволения, уже хотелось бы откланяться.

Двое остались в полном – и радостном недоумении. Они выпили по бокальчику вина в кафе неподалеку – чего бы уж точно не произошло, если бы им пришлось отдать старику положенные деньги. С первым звонком они направились ко входу в зал,

капельдинер лично проверил их билеты и тут же уставился на молодую пару с подозрением. Он попросил «минуточку подождать», и почти сразу рядом с ним, после странного взмаха его руки, появился важный мужчина в круглых очках под сросшимися бровями. Не дожидаясь вопросов, молодой человек сказал:

- Месье, которого вы знаете, просил передать, что эти кресла непременно должны быть заняты. Вы же не хотите расстроить...
- Да-да... – замялся важный, но спросил осторожно: – Я надеюсь, месье здоров?
- Вполне... – начала было девушка, но молодой человек со слегка преувеличенной суровостью перебил ее:
- Месье просил только напомнить вам, что условия должны соблюдаться неукоснительно!
- Прошу прощения, разумеется, это именно так. Я слишком много болтаю. Позвольте, я вас провожу. На лице все еще с любопытством разглядывающего их капельдинера подозрение сменилось на подострастие.

И напыщенный мужчина в очках лично проводил их к двум креслам в седьмом ряду, чуть левее центрального прохода. На креслах уже лежали программки, которые другим приходилось покупать.

Прозвучал второй звонок.

И капельдинер, и администратор словно упорхнули куда-то. Восторженные и немного напуганные, девушка и ее спутник не заметили, как возле левой кулисы слегка пошевелился занавес и из-за его края скользнул по их креслам внимательный взгляд.

Ресторанчик, хотя и небольшой по размерам, отличался от прочих тем, что почти все здесь было старое и настоящее. Посетители здесь были, впрочем, разные и, конечно, не те, что раньше. Сдержанно кивнув знакомой даме, лет сорока с хвостиком, незаметно для сопровождавшего ее мужчины с атлетической фигурой, господин одними губами проговорил, благо мужчина смотрел в другую сторону:

- Ах вот ты как! – и подмигнул.

И получил в ответ улыбку, а сидевший напротив дамы атлет просиял, по глупости думая, что улыбка предназначалась ему. Месье тоже улыбнулся – и без озорства.

Вечер начался, вопреки ожиданиям, не так и плохо.

Он уверенно пошел к столику, свободному несмотря на то, что ресторан был полон. Похоже, что не только кресла в концертных залах, но и столики

в ресторанах для этого пожилого человека полагались особенные. Да так оно и было. Справа возник высокий и худощавый Ренэ, сохранивший, несмотря на возраст, осанку.

- Кобра! – тихо проговорил он. – Я так и подумал, что сегодня надо придержать твой столик. Но как же ты вышел из положения?
- Погоди с этим! Хотя вышло довольно занятно. – К старику вернулось хорошее настроение.
- Что тебе подать, Кобра?
- Попроше, покрепче, побольше.
- А что – покрепче?
- То, что действительно покрепче! И давай придумаем, как удалить отсюда этого огромного болвана, который уселся напротив моей Акробатки! – такое прозвище было у дамы, с которой старик обменивался улыбками. Тут уже усмехнулся Ренэ.
- Не повезло парню!

Ренэ принес очень старую бутылку и прибор. Старику здесь подавали исключительно на блюдах и в бокалах, сохранных Ренэ с очень далеких времен. Месье взял в руки пузатый сосуд для коньяка и подумал – скольким знакомым доводилось пить из него... а ведь и самому не раз приходилось брать за круглые стеклянные бока этой посуды – именно этой. Мысль о том, что можно даже выпить с самим собой – но на несколько десятков лет моложе, его развеселила. Выпить с тем собой, который впервые пригубил из этого стеклянного шара, когда «шалуньи», что сейчас ворожит перед шумным атлетом, еще не было на свете. А ведь случись ему встретиться с ее матерью на пару лет раньше, она бы могла звать его папой... Но тогда бы не случилось нескольких других приятнейших приключений, двумя десятками лет позже. А еще наверняка к этому бокалу прикладывался и великий Мануш в только что пошитом дорогом костюме, из-под которого торчали нелепые красные носки.

Он поперхнулся – не от крепости напитка, а от смеха при этом воспоминании. Где же он впервые встретил этого негодяя? И как потом сестра Мануша выпросила у него половину пластинок этого великого бродяги, отбирая те, что «с белой собачкой на этикетке». Пластинки ему были ни к чему – он и так помнит каждую ноту.

Старик снова засмеялся: Ренэ шепнул что-то на ухо «спортсмену», и тот вдруг опрометью бросился на улицу. Обиженная Акробатка (ее фигура и рост совсем не подходили к прозвищу) заскучала за своим столиком, и старик запросто поманил ее пальцем. Та снова расцвела и поплыла к столу старика,

а легкая ткань платка на шее взметнулась, словно шелковое облако догоняло ее по воздуху.

- Сегодня четверг! – строго сказал старик.
- Так поэтому я и... Ой, прости, Кобра. Но я не думала, что ты захочешь взять меня с собой.
- И не взял бы. Но сегодня ты мне понадобишься. Или утомишь меня настолько, что я все же усну, или сделаешь эту бессонницу приятной. А пока мы с тобой выпьем.
- Я надеюсь, не шампанского? Я девка со вкусом – так что не требуй от меня изысканных манер!
- Они мне и не нужны. А пить будем то, что или уж совсем лишит меня сил, или удвоит их!

Ренэ не удивился, приняв заказ.

И плохо было только неудачливому поклоннику Акробатки: он чуть не рыдал над крылом дорогой машины, на котором какая-то сволочь от души выдрала по краске гвоздем неприличное слово.

Ренэ осторожно выглянул из окна, поправил шторм, прикусил язык, чтобы не расхохотаться, и дал двадцать франков за выполнение ответственного задания новенькому официанту, которого сам лично подобрал два года назад в одном кафе неподалеку. Тот улыбался шире ушей. Оба не выдержали и расхохотались в полный голос над мускулистым болваном.

Перед уходом бойкий подвыпивший старик потребовал телефон на длинном шнуре и сделал короткий звонок. Ему ходить звонить в кабинку – как всем прочим – тут не полагалось.

* * *

Когда отзвучал последний, очень нехарактерный для бисового исполнения номер – аллегро из первой скрипичной сонаты Энеску, девушка достала платок и прижала к глазам. Ее спутник потрясенно уставился на коренастого и короткорукоего человека, который в последний раз поклонился, баюкая в руках несравненный инструмент Джузеппе Гварнери, построенный в 1741 году.

Девушка забыла, как нервно хватала своего восхищенного спутника за руки, когда тот пытался захлопать в ладоши между частями скрипичного концерта Мендельсона ми минор. Она быстро, шепотом, в коротких паузах научила его вести себя в этом зале. Молодой человек совсем запутался – он не знал, как понять, когда заканчивается часть, а когда целое произведение. На всякий случай он стал аплодировать только следом за другими слушателями, и так ему стало спокойнее – и потом просто слушал, не думая о правилах.

А Рыцарь, который не очень хорошо видел, но зато лучше всех слышал, прекрасно понял, что на двух особенных креслах сидят не те люди, которых он ожидал. Поэтому бис он сыграл, казалось бы, неподходящий, что многими было отмечено. Но для этих двоих нужно было сыграть именно что-то подобное. И вслушиваясь в шелест зала, подумал, что тот, кому положено соблюдать уговор с другой стороны, все сделал правильно. Но что будет завтра? И тут его позвали к телефону.

* * *

Он и Она выходили из зала в фойе, еще не придя в себя, не сказав друг другу ни слова. И думая о том чуде, которое только что происходило на сцене, не ведали, что на самом деле думают друг о друге.

Тут-то к ним и подошел опять капельдинер, засомневавшийся перед концертом, вправе ли они занимать те самые, особенные кресла.

- Мадам, месье... Вам просили передать вот это, – сказал он и незаметно сунул в руку Емю программку концерта.
- Спасибо, месье, но у нас уже есть, – словно в лунатическом сне, произнес Он.
- А вам говорят – берите!

И капельдинер исчез.

На программке было написано от руки прекрасным пером и дорогими чернилами: «Жду вас завтра на тех же местах – непременно. Билеты получите на том же месте». Подписи не было.

* * *

Под утро Акробатка уснула, свернувшись, на углу огромной кровати. Будь кровать поменьше – это бы у нее не получилось. Затем, когда сон окончательно захватил ее в плен, она выпрямилась и раскинулась, обнаженная, чуть перезревшая, но восхитительная. Кобра лежал рядом, опираясь на локоть, разглядывал линии, тени, плавные дуги ее тела при свете ночника.

«Красавица... – думал он, скользя глазами вдоль этого чарующего кружения. – Кто бы и что ни говорил, но это и есть источник любого вдохновения». Он усмехнулся и снова загрузил.

Приемник, похрипывая, выливал под свет ночника голос великолепной Жюльетт. «Parlez moi d'Amour».

Под утро они обнимались нежно и крепко – старый мужчина и женщина, которая стремилась использовать последние годы отпущенной ей при-

Она погрозила пальцем:

- Милый, как тебе идет, когда ты говоришь умные вещи и по делу, а не все эти глупости. «Ультима, пенульта!» – передразнила она. – Я, между прочим, сразу так и подумала.
- А почему же это ты так сразу и подумала?
- Эти вчерашние билеты были – особенные. И получить их можно было только от... кто на концерте Рыцаря главный? Уж точно не администратор!
- Молодец! Быстро схватываешь!
- Я не схватываю. Я думаю. В отличие от некоторых!

И ссора чуть не вспыхнула, но была вовремя погашена: кофе сбежал.

* * *

Около полудня старик, запахнувшись поудобнее в теплый халат, сам над собой посмеивался. Как все легко и просто теперь... Еще несколько лет назад мучился бы, боялся потерять свободу, возможность менять таких «акробатов» время от времени. Все меняется. И что удивительно – не только в худшую сторону. Сколько условностей уже не волнуют. И к тому же она ведь, кажется, говорила искренне. Опыт тут же подсказал: «Сейчас – искренне. А потом искренне захочет поблудить с каким-нибудь типом, вроде вчерашнего». Ну и ладно. В конце концов, с этим ничего не поделаешь. Не маяться же из-за такой ерунды в одиночестве по вечерам.

- Мадемуазель! – позвал он, заглянув через занавеску в ванной.
- Мадам Кобра! – весело отозвалась Акробатка. – Ты не пугайся, я пошутила! И на слове ловить не буду!

Сколько проворства может оказаться в высокой и крупной, хотя и не полной (пока) женщине. Удивительно.

Она успела выскочить из ванны, вся в пене, подхватить его, отвести к кровати, открыть форточку, в которую ворвался первый холодный осенний ветер.

- Что ты... Что ты? Роби? Что с тобой?
- Он медленно пришел в себя.
- Перепил вчера немного. А с утра выпил вина. Так не годится. Налей мне чего покрепче...
- Она налила половину обычного стакана и дала ему отхлебнуть. Остальное допила сама.
- Опять налижешься, куколка...
- Сейчас. Я сейчас.

Она извлекла из своей микроскопической сумочки массу вещей, которые легко заполнили бы

средний чемодан, пока не нашла таблетки, которые держала при себе на всякий случай. И тихо подумала: «С ума сошла, дура. Чуть не убила человека...» Вернувшись в комнату, спрятала «покрепче» в буфет, влетела в спальню и заставила старика взять под язык таблетку. «Что же мне с тобой делать?» – думала она, глядя, как приходит в себя Кобра, как розовеют его щеки и обретает ровный ритм его дыхание. И вдруг неизвестно откуда прозвучало у нее в голове: «А ведь ты влюбилась, Жюльетт!»

Не переживайте. Не на чем. Такая дама прекрасно знает, что уж если вляпалась – надо быть решительной. Любовь – как собака. Она не кусает того, кто крепко возьмет ее за ошейник. Акробатки это слишком хорошо знают, так что нерешительность и сомнения – это не про них.

* * *

Рыжий и крепко сколоченный, с толстой шеей и сильными коротковатыми руками полуобнаженный человек. Уже не первый десяток раз видел доктор своего великого пациента во время этой процедуры. Тот сидел на табурете у рояля, а массажист растирал ему правое плечо, после того как Рыцарь выполнил последнее из своих ежедневных упражнений – четверть часа сидел в странной позе, его дыхание почти не ощущалось, пульс замирал. Но что он творил над собой до этого! Лицо и фигура сидящего скорее подошли бы грузчику, кузнецу или мастеру средневекового двуручного меча. Сосредоточенный, уверенный, с очевидной могучей силой – но полный ловкости, не легкомысленный, – но и не без озорства. Массажист молча делал свое дело, а доктор про себя думал: скольких его пациентов с таким-то диагнозом после первого же занятия этой гимнастикой пришлось бы везти на кладбище. А этот, если не считать проблем с рукой, впрочем, сугубо профессиональных, – даже будь он лет на десять моложе, был бы эталоном здоровья. Но только с виду. Эх, ну если бы он был таким все время – спокойным, неспешным. Не в его возрасте так себя изнурять! В конце концов, глядя, как массажист заканчивает свою работу, доктор твердо решил перед уходом переговорить... нет, не с пациентом, это было бы бесполезно. С его женой. А Рыцаря просто спросил:

- Ну как сегодня?
- Спасибо. Все замечательно.
- Боли по вечерам не усиливаются?
- Нет-нет, все в порядке. Я и позабыл о них. Простите, у меня нет при себе наличных денег, из-

неудобных мест сидел маленького роста чернокожий человек с сердитым лицом. Позади были трудные времена, впереди – неизвестные. Он одного за другим потерял своих учителей. У первого уже нечему было учиться. А у второго – главного – учиться можно было бы всю жизнь. Но грязный героин и выпивка убили его раньше смерти. Иногда, когда к нему возвращался человеческий облик, он снова становился прежним, но это случалось все реже, а потом – наступил конец.

Странное это чувство. Он осознавал, что без этих двоих ему теперь будет несказанно легче. Он стал лучше их обоих. У него здоровья на десятерых таких, как они. Он слышит лучше, чем они, а они-то умели слушать! Но то, что уже создал он, пока никому непонятно и по большому счету не нужно. Теперь ему хватает места. Теперь ему свободно, просторно – и очень одиноко.

Рядом в таком же пыточном кресле посапывал устроивший ему эту поездку старый приятель. Он за время пути приложился к бутылке раз десять, выпил еще несколько порций того, что разносила белая стюардесса с надвнутой улыбкой, и опустошил плоскую флягу из внутреннего кармана пиджака. Вот и спит.

– Эй, тряхни башкой! Там внизу что-то, похожее на город, куда мы летим. Ремни пристегивай, пьяница! Приехали!

– А? Уже? Очень хорошо. А то через час-другой у меня в кишках и в легких началось бы такое...

Что на это скажешь? «Ты скоро сдохнешь, как Байдербек и десятки других?» А то он не знает...

Самолет стукнул колесами по бетону, все слегка вздрогнули. Наконец, плавно притормозил, из открывшейся двери донесся запах чужого, заокеанского воздуха. «Старый Свет». Здесь даже пахнет, как в старом доме...

Он вышел на трап и увидел на балконе аэропорта толпу с какими-то плакатами, встречали неизвестную ему большую шишку. Это его разозлило.

– Эй! Посмотри туда. Через несколько лет так будут встречать меня! Понял?

Приятель пьяненько улыбнулся.

– Дурак ты, черномазый. Тебя и встречают!

Три дня он не понимал, что происходит. Белый швейцар с медалями на ливрее открыл перед ним двери в отель. В залах публика сходила с ума, выкрикивая его исковерканное имя. Ему дарили цветы, как женщине.

Днем он оказался на обеде, который дали какие-то люди в его честь. По сравнению с этими людьми сам он одет был просто безукоризненно. Они неважно говорили по-английски, но и сам он

говорил на «своем» – черном английском, так что за столом не всегда понимали друг друга. Приятель старался пить поменьше, «для поддержания разговора», а точнее – «для поддержания жизни». В конце концов они вышли в туалет, извинившись.

– Что это за люди? Зачем я им сдался?

– Они считают тебя гением. Таким же, как они сами.

– А они-то кто?

– Если ты о таких слышал – это Сартр, жена Сартра по кличке Бобер, любовница Сартра – ее не знаю, не видел до сегодняшнего дня...

– Так откуда ты знаешь, что она его любовница?

– А на кой черт он потащил бы ее с собой в ресторан?

– Ты идиот. Здесь его жена!

– Ну и что? Одно другому не мешает.

– А тот хрыч в жеваном пиджачке?

– Он вроде какой-то друг Джанго.

– Джанго? Цыгана-гитариста?

– Да. Но он многих знает. Вообще всех. Это тебе не Нью-Йорк. Это город маленький.

– Ну да, ну да... А брюнетка чья любовница?

– Не знаю. Чья-нибудь. Такие одиночками не бывают. Э, интересуешься?

– Заткнись. Ты ведь сейчас замахнешь еще этой кислой дрянью и притворишься, что не спишь. А мне умные слова придется говорить.

– До сих пор не слышал ни одного.

– Так. Сейчас я врежу по твоему брюху, и все эти Шато и Марго брызнут наружу...

– Не-а! Не станешь пачкать костюмчик!

– Только поэтому ты и жив до сих пор. Пикассо я знаю, это художник. А этот Сартр, он кто такой?

– Ну ты даешь! Он – ну вроде как философ. Пишет книжки...

– Так писатель или философ?

– Всего понемножку.

Потом попробовали поиграть в зале перед концертом. Брюнетка и хрыч в жеваном пиджаке появились и там. Но там были и тот же Сартр, и еще кто-то, еще кто-то, и еще пять месье, и восемь мадемуазель, и шесть мадам... Он не успевал, да и не собирался запоминать все имена. А вот брюнеткино имя так и не расслышал. Ничего. Сейчас будет слушать она.

Перерыв возник не потому, что он его объявил, а потому, что просто все разом остановились. Остановились, потому что сами не верили, что ТАК можно, что ТАК сыграли они, и совершенно потрясенные тем, что сделал он, – ему захотелось закрыть глаза и услышать происходящее со стороны. Встал, неискренне-беззаботно откинулся прямо перед ней на спинку стула и шелкнул языком.

– Вроде где-то так. Тебя как зовут? – спросил он.

Не потому, что, свалившись с небес, огрубел и вернулся в прежний, сердитый и вечно готовый к отпору настрой. Просто сил не было придумать такого себя, который мог бы ей понравиться.

В его номере, ближе к полуночи, она высвободила руку из-под его шеи, проговорила в телефонную трубку что-то насчет ужина в номер. Он включил телевизор. А на экране – из телевизора пела... она, та самая, которая лежала с ним рядом.

– Так ты певица? Тебя и по ти-ви показывают?

– Даже, как видишь, снимают в кино.

– Ну, само собой. Ты, наверное, здесь самая красивая.

– Нет, но слышать приятно. Хотя – почему нет? Надо же... А ты еще и галантен.

– А ты думала! – довольно проворчал он и вдруг сделал телевизор погромче.

Всего он мог ожидать, но чтобы у нее можно было поучиться еще и музыке? А ведь можно. Нет, и правда странный и удивительный город. И в нем – единственная женщина в мире, без которой он бы не стал тем, кем теперь будет. Не сразу – но будет. Это теперь почему-то ясно. Но вот так столкнуться с такой женщиной в первый же день? Странный город. Замечательный. Его можно полюбить, даже если ты черный.

Он рассказывал ей, что именно Дебюсси сделал первым, объяснял, что Стравинский понял в регтайме и чего не понял, просто и очень ясно растолковал все о музыке Рахманинова и Сен-Санса. И уже говоря о себе, настойчиво повторил, как важно, чтобы трубочка не «давил» и не «свистел».

– Хотя, – добавил он вдруг – я, в принципе, могу себе позволить делать все что угодно. Если действительно нужно.

Улетая в Америку, он не стал записывать пластинку «живьем», которая хотя и не содержала бы ничего особенного, но принесла бы ему по инерции несколько сотен долларов. Вместо записи он провел день с ней. Он умел считать деньги. Но хорошо знал, что на них изображены либо те люди, которые сделали его предков рабами, либо другие, которые пожелали дать черным свободу, но очень прагматично, «в разумных пределах».

* * *

Офицер СС довольно часто переодевался в штатский костюм. Он осторожно, но постоянно посещал

разные парижские кабаре и кабачки. К нему часто обращались с просьбами – устроить небольшой пикантный вечерок в одном из таких заведений для непростых гостей из Берлина. Он устраивал, и вскоре его назначили в комиссию по изъятию ценных экспонатов из музеев и частных коллекций, причем несколько картин достались ему. Продай их – и хватит на долгую старость.

Любая вылазка в кафе с «дикарской» музыкой и местными девками, если бы о ней узнали недоброжелатели, стоила бы карьеры (а то и головы) кому угодно. Но не ему. Он частенько встречал на аэродроме самолеты, из которых с места пилота выпрыгивали те, кого корреспонденты «Народного наблюдателя» фотографировали рядом с самим фюрером! Главное было – не ошибиться. Тем, кто не слишком удачлив, он отвечал, что очень занят по службе. Со временем проявилось удивительно точное чутье. Долго нужно учиться быть полезным, еще дольше – аккуратно и вовремя менять отношение к тем, кому быть полезным становится опасно.

Очередная вылазка в маленький ресторанчик не должна была стать чем-то особенным. Несколько бокалов вина, вульгарные, но очень приятные танцы. Оркестрик играл «дикарскую» музыку. Все как обычно. Проверил по пути, надежно ли скрыто от недоброго глаза это заведение, щедро оплатил знакомого стукача (ох, французы! А еще говорят, что это немцы самые исправные доносители). И тут что-то случилось. Скверно стало на душе.

Может быть, дело в напитках? Нет, голова ясна. Откуда тогда появилась эта странная веселая тоска? Почему стало вдруг совершенно все равно, что будет завтра? И будет ли у него вообще это «завтра»? Только вернувшись домой, он понял, что был виноват в его умственном помрачении. Ехидный черноглазый гитарист с сомнительной внешностью.

* * *

Редкий инструмент работы Джузеппе Гварнери, один из последних, совсем не выделялся красотой внешней отделки. Ничего – кроме звука. Гварнери уже не нужны были десятки мелких промеров. Он знал, где дрожащий звук должен искривляться, где вернется к той точке, откуда начался, как звук соскользнет по верхней деке и даст исключительный, звонкий обертон, как, забившись внутри скрипичной утробы, заставит кричать не верхнюю, а нижнюю деку. Вот та и даст ровный гул, вот этот-то гул и понесет звук, образовавшийся снаружи, заставит воздух задрожать в ответ. Торопливость про-

ривалась только в том, что он частенько опускал на верстак руки и думал, пока отдыхали усталые мышцы. Важно было успеть. Он сделал деки плотнее и толще, а форму оставил «свою» – вытянутую, полную. Иногда он пробовал скрипки на улице – если зазвучит на открытом воздухе, не подведет нигде.

Рыцарь смотрел на чудо, лежавшее перед ним, и вспоминал, как впервые прикоснулся к ней – еще не смычком, слегка потеревив струны пиццикато. Как впервые попробовал ее «на голос». И как в тот день разочаровался. Как любая другая. Ничего необычного не было в ее звучании.

Он сам вывозил ее из послевоенного Бухареста, где получил ее из рук своего великого учителя. Он знал и кто прежде играл на ней, и кто ее слушал. Этот инструмент в свое время принес славу Эжену Изаи. Им владел и Андрэ Вьетан, по фамилии которого инструмент получил новое собственное имя. До Вьетана, который играл на ней в последние одиннадцать лет жизни, скрипкой владел французский мастер Жан-Батист Вийом, купивший ее у некоего Бенцигера из Швейцарии.

Рыцарь слышал другие инструменты Гварнери – The Emilian, Lord Dunn-Raven, не говоря о принадлежавшей самому Паганини Il Canone. И вот несколько лет назад в его руках оказалась эта скрипка. Не сразу с ней удалось поладить. И только спустя три недели он вдруг почувствовал, что она ответила ему.

А сейчас ему самому предстоит выбор. Пройдет несколько лет, и нужно будет отдать ее. Но кому? Несколько минут он сидел и перебирал три или четыре имени. Но выбора так и не сделал. Ничего. Пока это может подождать.

Он подошел к дорожному проигрывателю, включил его громко, как всегда делал.

Коридорный, услышав, что слушает великий человек, замер. И вдруг довольно подумал: «А ведь у нас с ним общие вкусы!» И коридорный был в чем-то прав.

* * *

Акробатка удивилась, с какой неожиданной легкостью Кобра вдруг поднялся и направился в ванную комнату, откуда явился побритый и свежий. Затем он оделся в свой обычный, уже слегка потрепанный костюм и стал чистить туфли.

– Ты куда собрался? – спросила она, еще напуганная его утренней внезапной слабостью. – На концерт еще рано!

Он поманил ее к себе и обнял. Пропустил пальцы сквозь волну ее волос, прижался лбом к ее лбу и вдруг спросил, будто бы просто так:

– Тебе нравится этот дом?

Она покачала головой.

– Ты все-таки не шутишь.

Он не мог бы дать ей ничего такого, чего у нее не могло бы быть без него. Она могла бы больше потерять с ним, чем... чем... И тут она сказала:

– Я привезу вещи. Сегодня. Как ты это делаешь?

– Этого никто не мог сделать, кроме тебя. Но вещи перевезти ты успеешь и завтра. А сегодня ты пойдешь на концерт.

– На концерт... На тот самый? Вместе с тобой?

– Нет. Вместо меня. И будет тебе поручение. Знаешь, у меня есть еще полчаса. Свари-ка нам кофе!

* * *

Рыцарь вспоминал в тот вечер, как впервые увидел веселую физиономию скрипача с ехидцей в глазах. Это было в коридоре телестудии, где он должен был играть на каком-то благотворительном концерте. Он был очень зол – с утра капризный «Вьетан» не желал звучать.

Это выводило из себя, на студию он приехал в отвратительном настроении, попытался привести инструмент в чувство, но без толку. А вся его пусть даже короткая сегодняшняя программа была придумана именно для этого Гварнери.

Тут-то он и увидел насмешливое лицо. «Чтоб ты провалился!» – подумал Рыцарь и, понимая, что тот не куда не провалится, отвернулся. Вдруг из-за спины раздался звук другой скрипки. Такой же проказливый, как лицо ее хозяина, – и пригласительный. Первые несколько нот джазовой темы, тогда известной каждому. Его провоцировали ответить. Он ответил пиццикато, и вторую фразу из известной темы нахал уже сам начал пиццикато, это был настоящий вызов.

И тут капризный инструмент будто проснулся и выдал завершение второй фразы в своем лучшем голосе.

Два старых мастера из разных музыкальных миров сперва обменивались репликами в этом бессловесном, а потому куда более значительном разговоре, отвечая друг другу шуткой на шутку, комплиментом на комплимент, и вот уже заговорили вместе как приятели, не боясь перебить друг друга, и прекрасно друг друга понимая.

И четверть часа пролетели, а вокруг собралась уже почти вся студия. Когда тема им наскучила

В 1949 году он слышал, как играет трубач, вызвавший переполох в джазовых клубах Парижа. Они не поняли друг друга. И не заинтересовали. Трубач больше всего интересовался своей подругой Жюльетт.

* * *

Телефонный звонок застал Рыцаря в ванной. Но этот звонок был настолько долгожданным и таким важным, что жена постучала к нему в дверь и принесла аппарат.

- Здравствуйте, месье, я друг Стефана еще с довоенных времен. Стефан стесняется звонить вам сам...
- Боже мой, да я собирался взять штурмом телевидение, чтобы найти его!
- Стефан хотел сегодня зайти за вами после концерта...
- Я немедленно позвоню и оставлю ему билеты, на лучшие места!
- О, не стоит. Нас будет довольно много. Трое. И один из нас...
- Мне совершенно все равно, сколько вас будет! И слышать ничего не хочу. Жду!
- Дело вот еще в чем. Событие, на которое мы имеем честь вас пригласить, состоится через 15 минут после концерта...
- Ну, так я не стану играть бисов.

* * *

Суд над эсэсовцем мог привести только к одному финалу. В такие дни приговоры однообразны. Француженки, спавшие с немцами, боялись выйти на улицу – им обрывали головы, коллаборационисты еще пока получали по заслугам. Но человек в помятом пиджаке сходил в несколько кабинетов, в которые вход был открыт далеко не каждому, – и суд отменили. Немец получил из его рук паспорт на непонятное имя жителя Эльзаса, не то немца, не то француза.

Спустя девять лет он зашел в неприметную дверь на одной из улочек в Женеве, а через полчаса вынес из незаметного, но очень надежного банка несколько чертежных тубусов и отправился в здание французского посольства.

- Это собственность французов. Чья именно – даже не знаю. Просто хочу это вернуть.
- Ваше имя, месье? – спросил атташе по культуре, с любопытством и подозрением оглядывая то посетителя, то картины, которые давно считались безвозвратно потерянными.

- Частное лицо. Имя неважно. Хотя в Париже меня могут помнить.
- Атташе по культуре вспомнил. Еще как вспомнил.
- Жест, конечно, красивый... Но я вынужден сообщить, что...
- Очень обяжете.
- Мы не настолько кровожадны и мстительны... (в этом месте атташе явно хотел сказать «как вы и вам подобные», но сдержался). И Республике совершенно не нужны расходы по вашей казни и захоронению. Равно как и содержать вас в тюрьме – тоже только лишний расход. Но все же я дам знать по инстанциям, что...
- Вот мой адрес. Я никуда не убегу. Но хотел бы еще побывать в Париже.
- Только не говорите, что вы хотели бы там умереть!
- Я хотел бы там жить. Хотя понимаю, что это невозможно.

Но через месяц он уже ехал в поезде мимо знакомых станций. Атташе по культуре в толк не мог взять, кому понадобилось пускать во Францию этого немецкого вора. Но никому ничего не сказал. За его дядей по части коллаборационизма тоже имелись грешки. Война войной, а деньги деньгами. Нет, конечно дядя – это дядя, а немец – это немец... Но может быть, и он чей-то дядя. «В конце концов, это не мое решение», – успокоился атташе.

* * *

Акробатка не может превратиться в Жюльетт за одни сутки. Тем более что и суток еще не прошло. Оглядывая знакомую нам пару у билетных касс, она смотрела на молодого человека как на мужчину, а на его девушку как на недоразумение. Если бы молодой человек был неинтересен или оказался глупее, чем позволительно, она бы вела себя по-другому. Но он был очень хорош. Не то чтобы Акробатка не понимала, что нужно быть совсем другой, что ей дано поручение и что... Да черт возьми, не в парне же дело. Напоследок нужно пофлиртовать хоть с обезьяной! Поэтому она и успела заехать домой, чтобы совершенно в духе предпринятой Кобра мистификации – и в связи с «последней возможностью» – придать себе предельно загадочный вид, – множество деталей, не слишком заметных, но смертельно опасных в совокупности...

Плащ мог распахнуться неожиданным и отработанным движением. Ресницы одним взмахом могли заставить не только глупого мальчишку, но и искусственного мужчину потерять равновесие. Никого не

пожалует она на излете своей красоты. «Ничего! Девочка, пора узнать жизнь. Полезно знать цену мужчинам!» – думает такая дама совершенно искренне – и не пошадит. А уж чувств девчонки – тем более.

Акробатка появилась перед парой внезапно. «Таинственная посланница» – что может быть лучше! И ресницы взмахнули, и плащ распахнулся вовремя, и камни украшений блеснули всей своей подлинностью. Мужчины осознают этому цену, когда уже заплачено.

– И так, у вас есть особая программка? – Ресницы, плащ, улыбка.

И что против них жалобный, умоляющий голос совсем еще девочки:

– А где же тот месье?

– Милая, вам должно бы быть понятно, что этого месье невозможно встречать каждый день!

* * *

– Как это было?

– Он приехал после концерта, заказал себе выпить... А потом умер. Пока искали врача, который не мог приехать, потому что была суббота, пока... в общем, было поздно.

– Брат забрал его гитару?

– О, нет. Она в музее музыки. Рядом со скрипкой Паганини и фортепиано Шопена...

– У них получилось бы прекрасное трио.

– Может быть, где-то так и есть.

– А я думал, что ты неверующий, Кобра!

– Вот это точно так и есть. Впрочем, когда имеешь дело с цыганами – разве можно быть в чем-то уверенным?

– Ты и шутишь так же, как он.

– Это правда. После войны именно он вернул мне чувство юмора. Да и не только мне. Только он мог вернуть столько людей к жизни.

– И откуда у тебя такое странное прозвище?

– Эх... Встречи со мной для немцев кончались как встречи с коброй. Только против меня не придумали сыворотки.

– И ты – первый француз, который сам пожал мне руку!

– Ну, ведь не последний. Знаешь – я бы никогда не узнал в тебе того жирненького трусливого немца.

– Я надеюсь, что он давно умер.

– Он и должен был умереть в день нашей первой встречи. Я пришел тогда именно убить тебя.

– Джанго тебя опередил.

– Он сделал это самым лучшим способом. Кстати, и того Кобра, с которым ты встретился, – он тоже убил. Тот Кобра просто забрал бы бумаги – так ведь было удобнее, никаких следов. Но Мануш так на меня посмотрел, что я не смог.

* * *

Спустя годы Рыцарь сидел в кабачке у Ренэ со своим другом Стефаном – тем самым, которого встретил на телестудии, и Робером, который помог им разыскать друг друга. Робер со странным прозвищем Кобра представил им седого немца с невесть откуда взявшимися благородными чертами лица, худощавого и грустного. И Кобра вдруг сказал:

– А ведь если бы не он... Мануш, в честь которого мы устраиваем эти вечера, сгинул бы в каком-нибудь лагере.

И тогда сам Рыцарь без сомнений пожал руку немцу. А кто-то из туристов в ресторане тихонько щелкнул затвором фотоаппарата и принес обоим немало огорчений.

* * *

Мануш так и не смог угнаться за тем черным саксофонистом. И дело было не в технике, не в темпе, не в скорости и причудах ритма. Он привык к другим слушателям – к тем, кто мог расплакаться, привык к тому, что внезапно из толпы бросалась навстречу какому-то мужчине какая-то женщина и они не танцевали, а плакали, уткнувшись друг другу в плечи. Он привык, что люди, от которых уже никто и никогда не ждал веселья, вдруг начинали улыбаться. А теперь его слушали – и оценивали, сравнивали, ловили фразы. Скучно.

Однажды он купил на все деньги красок и кисточек, несколько картонов и холстов и на следующий день начал рисовать. Обнаженную рыжую цыганку, лошадей, восходы и закаты. С ними и дымом своей кибитки он и улетел в небо. Как и положено цыгану.

* * *

– Мадам, одолжить вам программку?

«Ну, вот ты и попался, мальчик. Ты эту бедную девчущку уже и забыл... И как быстро! Так поделом вам обоим». Только он тем временем увидел, что в программке первый номер перечеркнут и по зачеркнутому написано «Pablo de Sarasate. Gipsy Airs Zigeunerweisen».

– Смотри! Это для нас! – воскликнул Он, обращаясь к Ней, еще не пришедшей в себя, сжавшейся, готово расплакаться.

И Она увидела – что смотрит он только на нее, и не просто смотрит – ничего, кроме нее, не видит, не хочет видеть... И Она вдруг успокоилась и, забыв, где она и что вокруг сотни глаз и ушей, бросилась к нему у в руки, прижалась к его шее, а он растерялся и зашептал: «Что ты? Что ты?»

Когда Рыцарь вышел на свое место, сразу бросилось в глаза, что под фраком, кожей и мускулами – нечто потверже обычных костей. Он шагал такой же походкой, какой выходили на поединки рыцари тысячу лет назад, с тяжелыми двуручными мечами, обретая с каждым взмахом все больше ловкости, и подчиняли себе движения тела и оружия. Он уже скользнул по трем самым важным местам в зале робким взглядом. А когда затихли звуки Сарасате, все пошло по программе. Bruch. Violin concerto no 1. Это был особый концерт. Рыцарь даже не играл – он вспоминал тех, кого сегодня не могло быть в зале.

Акробатка затихла в своем кресле. Он почему-то представила себе комнату, кровать, ночник и радиоприемник, старика с насмешливыми глазами, который погрозил ей пальцем. Вчерашнее счастье вернулось к ней, и незаметно сняла она с шеи и из ушей дурацкие блестящие игрушки. Они нужны тем, кого не любят. Она смотрела на двух счастливых детей. Потом вдруг вспомнила, что когда-то умела довольно сносно готовить.

В антракте Акробатка подошла к Ней, поцеловала ее в щеку и прошептала: «Береги его! И если что – звони. Вот тебе номер!» – и написала прямо на программке. Спроси Жюльетт. Или попроси Кобра позвать жену. Или просто приходи, вот адрес.

- Кобра?
- Ты его знаешь! Он дал вам вчера билеты...
- Мадам! А кто он?
- Сама не понимаю.

После концерта, коротко поклонившись в последний раз, Рыцарь вышел в свою гримерную и, быстро сняв фрак и черные брюки с атласным поясом, переделался в штаны с пузырями на коленях, клетчатую рубашку и пиджачок. Потом он взял «Вьетан» и спустился к невзрачному подъезду, у которого уже стояла машина. За рулем сидел Ренэ. На переднем сиденье – Кобра.

- Здравствуй, дружище! Пришлось чуть-чуть задержаться. Я изменил программу. В этом зале тоже нужно было сыграть...

– Я понимаю.

– Он... Давно?

– Неделю назад. Рыбачил на берегу Сены. Я все понял, когда не увидел его на обычном месте.

Подъехала и вторая машина, оттуда помахали рукой, и оба автомобиля понеслись в не слишком презентабельный кабачок. А там – старые и молодые музыканты собрались под фотографией скрипача и гитариста, в полный рост. Фотография была черно-белая, и уже никто не знал, почему кажутся не очень подходящими к костюму носки, торчащие из-под брюк гитариста.

И хотя заведение было не фешенебельным, сюда мог попасть далеко не всякий. Стоявший у входа совсем не похожий на швейцара человек пускал тех, кого знал. А потом начали играть – а тогда дверь и вовсе закрыли изнутри.



| Юность № 4
| Апрель 2021

ПОЭЗИЯ



ВАДИМ МЕСЯЦ

Родился в 1964 году. Поэт, прозаик, руководитель издательского проекта «Русский Гулливер».

НАДОЕЛО РИСОВАТЬ ПТИЦ

Надоело рисовать птиц,
мы решили рисовать крыс,
чтоб возвышенность сошла с лиц,
чтобы очи опустить вниз.

Потому жизнь всегда внизу
наподобье световой тропы,
освещающей сапог кирзу
и пробившие асфальт грибы.

Поколения больных детей
смотрят в спину, презирая нас
за отсутствие больших идей,
за возможность отдавать приказ.

Я не жалею, но я боюсь
обернуться и увидеть в них
запакованный в предсердье груз,
что от взгляда моего возник.

Век прошел, но наступил век,
где неузнанным ты стал сам,
обучающий троих калек
незатейливым чудесам.

РЕВОЛЮЦИЯ

Гимназисты не знают пощады,
если в руки попал револьвер.
Ловко целят в казачьи отряды
и кричат на особый манер.

И девицы, бросаясь на сабли,
нарываются на комплимент,
отряхнувши кровавые капли
с белоснежных шифоновых лент.

Пусть портретами графа Толстого
украшается мир над толпой,
мы привыкли любить молодого
и брести за ним верной тропой.

Молодого, с гишпанской бородкой
и в подвернутых снизу штанах:
голосящего сдобною глоткой
на высоких и низких тонах.

Он поет о возмездии скором
и как парусник рвется на свет,
хоть его диверсантом и вором
называют в колонках газет.

Красный флаг как колумбовый парус
унесет громаде баррикад
за моря, где и я не состарюсь,
а состарюсь – то стану богат.

Остуди мое тело под шубой
лютым ветром и градом свинца.
И я стану не нежный, а грубый:
с отвердевшим овалом лица.

МНЕ В НЕЗНАКОМОМ ДОМЕ НЕ СПАЛОСЬ

Мне в незнакомом доме не спалось,
что-то забылось, что-то не срослось,
но я был рад, что очевидно выжил.
И ставни колотились вкривь и вкось.
И я к воде неосторожно вышел.

И сделалась такую рябь воды,
что я увидел быстрые следы,
спешащие куда-то к горизонту.
И близостью к арктическому фронту
не дорожили хрупкие сады.

И солнца неживое существо
для жизни оставляло меньшинство
и не сулило к празднику подарка.
И с горечью смотрели на него
рябина да подгнившая боярка.

НОЧЬ В ДЕТСКОЙ КОМНАТЕ

Уйдет жена, и вы ее не вспомните.
И ночь уйдет. И полыхнет рассвет.
И вы уснете пьяным в детской комнате,
где нет детей, и никого там нет.
Вы книги в ниши длинные расставите,
вбивая переплетом переплет,
и ни любви не будет в вас, ни памяти,
а только перелет и недолет.
Нет нужных книг. Все книги наши лишние,
они еще бессмысленней гостей,
что угощают пирогами с вишнями.
И шелкают прикусом челюстей.
И будут куклы с теплой укоризною
смотреть на вас и улыбаться вам,
сверяя с прежней жизнью закулисную
приверженность к трагическим словам.
И лампы на глаза мои закатятся,
и ляжет мне на тело потолок.
И я на ногу ситцевое платье
примерю, как казарменный сапог.

КОЛОКОЛЬЧИК

Колокольчик с соломенным языком,
не звенеть ему больше, а лишь шептать.
На колени не встать, не упасть ничком.
Не называть ни отца, ни мать.

Голубые глаза выглянут из тьмы,
раны рваные или прострелы пуль.
Я беру себе эту любовь взаимы,
если вечен теперь на земле июль.

Колокольчик с соломенным языком
шепчет клятвы, которых никто не знал.
Если был ты знаком мне, то незнаком,
если вычеркнут временем наповал.

РАЙ

Нельзя приехать к другу,
сказать «не умирай».
Планеты мчат по кругу,
и неподвижен рай.

Твой друг тебя услышит –
сегодня не умрет,
губу в ответ оближет
и приоткроет рот.

Под каменную люстрой
над бедной головой
он испытает чувство,
что в дом вошел конвой.

И он услышит вьюгу
и скрипнувший сарай.
Мы вытерпим разлуку
и беспредельный рай.

Пустынно там, как в доме.
И я стою сейчас
в кубическом объеме,
где свет давно погас.

БЕККЕТ

Город – административная единица.
Это знают Иван и его девица.
Это знает Василий, чья хата с краю.
Только я, дурачок, ничего не знаю.

Я в жилом помещении не обучен
обитать. Я привык к квартире.
Мой подход к мирозданию ненаучен:
ничего не жарю на комбижире.

Для супруги я чокнутый марсианин,
понимающий только свисток и выстрел,
ибо слух мой воистину филигранен,
только глаз от печали погас и выцвел.

Я владею динамикой оскуденья.
Что мне беккет, когда я и сам как беккет.
Я лохов развожу на ночное бденье,
непонятный, но очень изящный рэкет.

Деградирую вместе с культурой жанра,
приравняв красноречие к пустословью,
если вижу пожар, то бегу пожара,
а увижу любовь, то займусь любовью.

Мы вернемся всецело в одну утробу,
наш диагноз торжественно подтвердился:
кто несмело подходит к чужому гробу,
в свой ложится, как будто бы в нем родился.



ИГОРЬ МАЛЫШЕВ
Родился в 1972 году
в Приморском крае. Живет
в Ногинске Московской
области. Работает инже-
нером на атомном пред-
приятии. Автор книг «Лис»,
«Дом», «Там, откуда облана»,
«Норнюшон и Рылейна»,
«Маян», «Номах». Дипломант
премии «Хрустальная роза
Винтора Розова» и фестиваля
«Золотой Витязь». Финалист
премий «Ясная Поляна»,
«Большая книга» и «Русский
Бунер».

* * *

У Дюймовочки больше нет сердца, его съел крот.
Она сидит в подземелье, равнодушно зерно жуёт.
Может поддержать беседу о видах на урожай.
Впрочем, другие кроты ее не очень-то уважают.

Дюймовочка ходит по коридорам подземным, одета в тряпье.
Живые и мертвые трогает корни, иногда жутко поет
Песни, от которых просыпается старый крот,
Достаёт беруши и холодный вытирает пот.

Дюймовочка кричит в темноту тоннелей,
И звуки возвращаются к ней мертвее шрапнели.
Она слушает их и хохочет в ответ.
И от смеха ее по тоннелям летает снег.

А потом наступает весна, она долго глядит на солнце.
«Под землю!» – говорит ей крот, ну а ей все нейдет.
И когда на проталине первый встает подснежник,
Она лепит себе новое сердце и прячет его под одеждой.

Ловит ласточку и привыкшей к морозу рукой
Сдавливает ей горло и говорит: « Я полечу с тобой».
Они долго летят на юг, и в полете успев согреться,
Слепленное наспех сердце становится настоящим сердцем.

* * *

Я хоронил кошку,
В пять утра, на рассвете.
В коробке из-под ботинок,
С лопатой, наспех одетый.

Она умерла вот только
И на руках остывала.
Я проверял коробку
От чувства живого жара.

Плачу и не стесняюсь,
Кому и какое дело?
Я – человек несчастный.
Прячу родное тело.

* * *

Это тепло от земли и этот коровий взгляд...
Здесь всё совершается внезапно и невпопад.
Кони прядают ушами и воздушный летает змей.
Мальчики не приходят с войн, обманывая матерей.

Школьник дерется с крапивой, и крапива ложится рядами.
Карась вылетает с пруда, удочкой заарканен,
И летит, как Гагарин по небу, серебристо-красивый.
Родина-мать бьет в ладоши и хохочет счастливо.

Набухают туманом заросли трав в логу.
Журчит ручей. Эту ночь провожу в стогу,
Наблюдая, как летят в небе спутники и летучие мыши.
Последние живут в церкви с обрушенной крышей.

Я слышу, как поют мертвые на кладбище дальнем.
Как крадется мышь и что-то движется в Зазеркалье.
Как несется Юпитер своей извечной дорогой.
С вершины стога можно услышать многое.

* * *

Ни птица сова не знает, ни рыба сом
О королевстве под опавшим листом.
Не для него наша музыка – квинты, кварты и терции,
Не для него бьют часы на башнях Венеции.
Не для него летят спутники и ледоколы штурмуют Арктику,
Там полководец выстраивает полки, и не беда, что маленькие.
Там конница крупной рысью рассекает полночный мрак,
Чудовища отступают и падают в овраг.
Под опавшим листом турниры и рыцари опускают забрала,
Клянутся в верности дамам и замертво падают.
Там в крестовые ходят походы, помнят совесть и помнят честь.
Там на картах ворота адовы и видна купола твердь.
Там не тронет огонь невинных и невинный пройдет огонь.
В бочках древние бродят вина и твой первый товарищ конь.
Под опавшим листом темнеет. Королевство заносит снег.
Только всюду там факелы светят и поэтому слышен смех.
Кузнецы починяют доспехи, снова шьются шелка и меха.
И играют, играют дети. Под листом, среди снега и мха.

* * *

В небе высоком не тает осколок луны.
Мне десять, я прыгаю с бабушкиного чердака.
Ни для чего, просто так, голова легка.
В детстве летать легко, я лечу, как дым.

Прыгаю и, кажется, сделал что-то ужасно важное,
Как парашютист, сошедший с неслыханных прежде высот.
Как совершивший нечто, что дано не каждому.
А то, что страшно и ноги болят, – не в счет.

Бабушкин дом теперь рухнул, хозяйева – крысы, ежи.
А я еще жив и башка всё также легка.
Луны осколок держу в руке, как запал,
Хочется прыгнуть с бабушкиного чердака.



МИХАИЛ РАНТОВИЧ
Родился в 1985 году в Неме-
рове. Работает библио-
тенарем. Публиковался
в журналах «Огни Нузбасса»,
«Сибирские огни», «Алтай»,
альманахе «Менестрель»,
сборнике «Новые писа-
тели», интернет-журналах
«Формаслов», «Реч#порт»,
на портале «Textura». Живет
в Новосибирске.

* * *

Как полет тополиного пуха –
подготовка поющего слуха
для вступления в тягостный хор,
где, допустим, я вышел во двор
за прозрачностью траченной тени
под бряцанье Петровых ключей
и смотрю на удушье сирени,
и не жалко, не жалко очей.

Это радостно, это печально,
а изнанка ночей музыкальна,
но не ясно, зачем и кому
вырезают прекрасную тьму
и опасливый ласковый запах,
стройным счастьем его невзначай
назначая на поздних этапах.
Не удержишь украденный рай,

не положишь в карман аромата.
Хоть борьба обращается в брата,
а луна – молодой мельхиор,
но расходится призрачный хор.
В жадной музыке чувство сгорело,
будто я никогда не умру.
Я стою, как отдельное тело,
на привычном проточном ветру.

* * *

Из каллиграфии, хореов, хорд
родятся упражнения для слуха,
блистательный, хоть бестелесный спорт,
и на табло «2 : 0» не в пользу духа.

Ты победил, теперь живи один
и береги свою литературу.
Пускай хранит метафор формалин
прекрасных образов мускулатуру.

Раствор гармонии к глазам приблизь,
приблизь к глазам флаконы какофоний.
Да, это хорошо, но оглянись:
сипит степная пустота на фоне.

Нет, так я не могу и не хочу,
я не мечтал о подленьком подлоге.

Но если крылья обломать лучу,
то что же получается в итоге?

Останется привычный человек,
бредущий по сугробам в злое небо,
и не молчит в ночи молочный снег,
и недостаточно краюшки хлеба.

* * *

М. Л.

Сочинение тихих стихов
человека не делает чище,
ведь обходится воздух без слов
и без смысла, свободный и нищий.

Что приличней – хорей или ямба?
Что вкуснее – арбуз или дыня?
Проставляет расплывчатый штамп,
улыбаясь, большая гордыня.

Только нечем гордиться, и вновь –
каллиграфия в школьной тетради –
умирает слепая любовь,
никого не прося о пощаде.

О каком сладкогласии муз
всё мечталось охотно и страстно,
если я – одиночка и трус,
вождевший того, что прекрасно?

Трудный стыд, возрастная вина –
это всё, что во мне народилось,
словно утренний вид из окна,
где счастливая слабость струилась.

Чем тебя я отблагодарю,
тусклый свет, отраженный наружу?
Только тем, что горю, говорю,
что себя тишиной не нарушу.

Я дождусь, чтобы воздух разжал
ледяные ладони, чтоб звезды,
словно зерна печальных начал,
просыпались в земные борозды,

чтоб огонь, прорастая, горчил,
чтоб окликнуло вольное горе,
не в молчании, но в разговоре
обретая отчаянье сил.

| Юность № 4
| Апрель 2021

ПРОЗА

ПОСЛЕ ЖИЗНИ

РАССКАЗ



АННА МАТВЕЕВА

Родилась в Свердловске. Окончила факультет журналистики Уральского государственного университета. Первые публикации появились в середине 90-х годов. Автор множества книг: «Заблудившийся жоней», «Па-де-трау», «Перевал Дятлова, или Тайна девяти» («лучшая

вещь в русской литературе 2001 года», по мнению Дмитрия Быкова), «Небеса», «Голев и Настро», «Найти Татьяну», «Есть!», «Подожди, я умру — и приду», «Девять девяностых», «Завидное чувство Веры Стениной», «Призраки оперы», «Лолотта», «Горожане», «Спрятанные рени». Лауреат премий Lo Stellato (Италия),

журнала «Урал», премии имени Бажова, финалист российских литературных премий — имени Белкина, Юрия Назанова, «Большая книга», «Национальный бестселлер», Бунинской премии и др. Произведения переведены на итальянский, английский, французский, чешский, китайский, финский, польский языки.

Наташа Стафеева была кем угодно, только не любительницей антиквариата. Пользоваться старыми вещами, принадлежавшими чужим людям, лелеять какие-то там чашки с трещинками и мертвые часы, пусть даже триста раз ценные, — это не про нее.

Она любила новую одежду, обувь только из коробки и даже у туалетной воды обязательно проверяла срок годности — чтобы не подсунули просроченную!

Треснувшую посуду Стафеева безжалостно выбрасывала, помутневшие духи сплавляла подругам, толстовки в катышках приносила в Н&М «на скидку». Избавляться от предметов приятнее, чем приобретать их.

Наташа терпеть не могла сувениры и предметы интерьера, которые прискорбно часто дарят к праздникам. Вот откуда никогда не бывавшие у Стафеевой в гостях люди знают, какой у нее интерьер и какие она там хочет видеть предметы? Зачем ей может понадобиться нелепая ваза, металлическая Белоснежка с металлическими гномами? Или вот еще однажды подарили соломенные цветы, походящие на задорные фаллосы...

Все это выносилось на помойку тем же днем.

Новая квартира Наташи в Ростокине была обставлена по минимуму и напоминала этим гостиницу. Белые стены, белый пол, на котором, к сожалению, хорошо заметна пыль, белая мебель. «Больница как-то», — без восторга сказала приехавшая к ней

в гости старшая подруга. Эта подруга, Лиля Ивашевская, совсем скоро появится в нашей истории при других обстоятельствах, но пока она задействована в эпизоде и стоит на пороге Наташиной квартиры, напевая довольно чистенько:

- В комнате с белым потолком, с правом на надежду...
- На одежду! — передразнила Наташа, задетая комментарием.

Песню она при этом не опознала, так как была младшая подруга и выросла на другой музыке.

Квартиру свою новую (чужую, но это не важно) Наташа полюбила потому, что в ней было все, что нужно для жизни, — то есть почти ничего. Захламленное родительское гнездо наводило на нее ужас: Наташа выросла среди такого количества предметов, что дышать было нечем. Вещи сжимали ее в кольцо, и ощущение тесноты крепло с каждым годом. Мама и отец не умели выбрасывать вещи, потому что «их ведь можно еще куда-нибудь», «вдруг пригодятся» и «хороший человек подарил». Хорошие люди, алло! Дарить другим хорошим людям нужно деньги, сертификаты или, в крайнем случае, что-то утилитарное: съедобное или, например, косметическое.

Но люди этого почему-то не понимают. Ко дню рождения и под Новый год упорно дарят друг другу лишние предметы, которые никого, кроме сотрудников магазина, сделавшего выручку на всех этих

свечках, символах года и прочих бесполезных штук-ковинах, не обрадуют...

Лиля тогда приехала к Наташе в Ростокино как раз перед Новым годом – Стафеева только-только сняла ту белую квартиру и гордилась ею так отчаянно, как будто приобрела в собственность. Родители, естественно, разобиделись – что за прихоть снимать жилье, если у тебя своя комната (заваленная барахлом)? Если ты такая богатая, лучше помогла бы нам, вот не верится, дочка, что ты на такое способна... Под мамины стоны и громкое молчание отца Стафеева упаковала свой невеликий гардероб, составленный из практичных вещей, и вызвала такси.

– Как? – ужаснулась мама. – Ты что ж, совсем ничего с собой не берешь?

– Там все есть, мама.

(Вранье, ничего там не было – и это прекрасно.)

– Ну хотя бы посуду возьми! Постельное белье. Утюг! Вон там запасной, немного подгорелый, но работает же!

– Мои вещи не надо гладить, ты же знаешь. А белье и посуда есть в квартире.

Пару комплектов белья, полотенца и посуду – две тарелки, две чашки, два бокала, пару вилок с ложками, сковороду, кастрюлю и чайник – она купила накануне. Все новое, с намертво припаренными этикетками. Оттирая липкие ценники, Стафеева чувствовала себя по-настоящему счастливой.

В белой квартире было много воздуха, света и надежды.

– Все равно захламишь со временем, – качала головой Лилька, отпивая вино из бокала (одного из двух). – Невозможно жить в такой пустоте! Прямо просится чем-то заполнить.

– Не просится.

– Ну хотя бы картинку на стену повесь! У моего Сереги в магазине отличные постеры с Нью-Йорком, не хочешь? А часы? Как можно жить без часов?

Наташа показала пальцем на телефон. Можно жить без часов, еще как можно.

Тем более без постера с Нью-Йорком.

Единственным ярким пятном в квартире Стафеевой были яблочно-зеленые икейские шторы. Наташа просыпалась на рассвете и блаженствовала, глядя, как заливает белую комнату прохладный зеленоватый свет.

– Ну а книги? – Лилька никак не могла унять. – Ты ведь работник издательства!

– Именно поэтому я не хочу осквернять свою квартиру книгами.

– Осквернять? – Лиля чуть не уронила бокал, но вовремя перехватила его за тоненькую ножку. – Ну ты даешь, мать!

– Не беспокойся, книги все равно сюда проникнут, – вздохнула Наташа. – Это как раз тот случай, когда сопротивляться бессмысленно. Но пока мне хватает вот этих – она кивнула в сторону скромной полочки.

Лилька подошла к полочке.

– Библия, Шекспир, Пушкин и Даль, четыре тома. Да ты просто этот какой-то, стоик!

Наташа польщенно потупилась.

– Даос! На минималочках, – не унималась подруга.

– Слушай, ну ведь я и так читаю все, что можно, на планшете. Зачем мне здесь книги?

Лиля вручила подруге пустой бокал и открыла Шекспира.

– Назови любой номер, – предложила она.

– Восемьдесят шесть, – сказала Наташа.

Номер ее новой квартиры.

– Так. Сейчас. Сонет номер восемьдесят шесть: «Но если ты с его не сходишь уст, Мой стих, как дом, стоит открыт и пуст».

– Видишь, – возликовала Стафеева, – Шекспир на моей стороне!

– Ну хоть бы портретик его в благодарность повесила, вот здесь хорошо будет! У Сереги в магазине продаются, не хочешь?

– Давай лучше я тебе теперь погадаю. Говори номер.

– Сто тридцать пять, – вздохнула Лилька. – Трудный ты человек, Стафеева.

– «Недобрым “нет” не причиняй мне боли, Желания все в твоей сольются воле».

– Ага! Шекспир и на моей стороне, получается. Недобрым «нет» не причиняй мне боли!

Стафеева не стала напоминать Лильке о том, как два месяца назад, когда они ездили в Питер на выходные, та затащила ее в антикварную лавку на Рубинштейна и буквально заставила приобрести две рюмки для яиц всмятку. Очень уродливые были те рюмки, керамические, с прилепленными собачьими мордами – сделаны, как пояснил продавец, в 1950-х годах. Это ж сколько людей ими пользовалось, уныло подумала Стафеева, но рюмки все-таки купила, чтобы сделать приятное подруге. И продавцу, который вел себя очень приветливо и рассказал уйму ненужных фактов, пока Лилька выбирала себе какие-то юзанные броши. О том, что каслинское литье в последние годы поднялось в цене, но надо очень внимательно смотреть на клейма. О том, что если в квартире жили пятнадцать лет, не делая ремонт, то там вполне могут найтись ценные

Влюблялась Таня при этом всегда капитально – она служила своим мужчинам, заботилась о них лучше родной матери, угождала так, что дышать становилось нечем, – и мужчины, вначале разлакомившись, постепенно сдавали позиции.

вещи. О том, что на днях он был в доме на Литейном, хозяин которого скончался в возрасте девяноста пяти лет, и нашел там несравненной красоты зеркало – вызвавшие антиквара наследники сказали, что совершенно точно не станут заморачиваться с его продажей и пусть он спокойно забирает зеркало себе.

– Ушло в тот же вечер! – сказал продавец, упаковывая уродливые рюмки так бережно, словно это были яйца Фаберже.

Естественно, Стафеева выбросила их в тот же вечер – даже не распаковав, пока Лилька ездила к родственникам на Васильевский.

Новый год Наташа встречала с родителями, но сразу после ритуала с подарками, шампанским и Президентом отбыла в свою белую квартиру. Мама и папа уже не ворчали – смирились.

Дома Стафеева первым делом подошла к окну, чтобы задернуть яблочно-зеленые шторы, и засмотрелась на снег, которого безуспешно ждали весь декабрь, а он вот начал падать только сейчас: и так торопливо, так густо, как будто извинялся за опоздание...

А наутро позвонила Лилька.

– Еще раз с Новым годом, конечно, – сказала она, – но тут, в общем, это... Умерла...

Связь пропала. Наташа передумала всякое, пока сигнал восстанавливался – и с облегчением, за которое теперь ей, конечно, стыдно, услышала в конце концов, кто умер.

Это оказалась первая свекровь Титании. Скончалась эта неизвестная Стафеевой женщина, кстати, не в новогоднюю ночь, а две недели назад.

Титания – вторая старшая подруга Наташи, прозвище которой, кстати, она и придумала. Таня-Титания обладала довольно-таки распространенной для родных широт способностью неудачно влюбляться – что первый, что второй, что ныне действующий муж плюс целая когорта «мерцающих» любовников: и никого стоящего! (Здесь можно было бы пошло пошутить, но мы не будем.) Влюблялась Таня при этом всегда капитально – она служила своим мужчинам, заботилась о них лучше родной матери, угождала так, что дышать становилось нечем, – и мужчины, вначале разлакомившись, постепенно сдавали позиции. Соответствовать Таниному размаху мужчины не могли (какие-то другие, вероятно, справились бы, не будем тут делать смелых неоправданных обобщений, но вот конкретно эти – нет), а некоторые даже и не пытались. Широта Таниной души, ее милосердие, ее слепая влюбленность перекрывали любые попытки дать ей хоть что-то в ответ. Даже подарков она почему-то не принимала и отказывалась в попытках проявить рядовую заботу – а сама то и дело совершала подвиги во имя очередного Миши или Славы: находила им работу и хороших врачей (порой она даже искала работу и врачей для их жен и детей!), утешала в грустную минутку, в общем, по грубоватому выражению Лильки, «давала сиську по любому поводу».

Наташа познакомилась с Титанией в эпоху предпоследнего любовника, плавно перешедшую в эру ныне действующего мужа, который, кстати, судя по некоторым оговоркам, уже готовился перейти в разряд бывших (долго жить рядом с такой прекрасной женщиной было невыносимо – уж слишком явно выпирали на таком фоне мужские недостатки: и здесь тоже можно пошутить, но воздержимся).

Стафееву тогда, помнится, поразила удручающая неприглядность обоих – эти в равной степени потертые мужички выглядели на фоне симпатичной молодежливой Тани настолько убого, что Наташа, комнатный специалист по Шекспиру, воскликнула однажды:

– Ты как Титания из «Сна в летнюю ночь»! Влюбляешься в ослиные головы!

Прямолинейная, но при этом нежная сердцем Лилька долго ругала потом Стафееву за бестактность. А вот Таня, кстати, вовсе даже не обиделась – и стала откликаться на Титанию. Правда, не сразу.

В общем, все это, конечно, прекрасно (хотя и не очень), но непонятно, почему смерть первой све-крови Титании имеет какое-то отношение к Лильке и тем более к Наташе. Ну скончался человек, жаль его, конечно, царствие небесное и все такое. Но тут вообще-то первый день долгожданных каникул!

Телефонная связь внезапно установилась такая хорошая, что Лилька на расстоянии уловила Наташино недовольство. Возможно, кстати, что связь была хорошая потому, что Наташа стояла у окна с яблочно-зелеными шторами: здесь всегда хорошо ловит.

- Она оставила Семену квартиру по завещанию, – сказала Лилька. – Надо срочно освободить помещение, потому что Семен будет делать там ремонт – он уже бригаду нашел, в праздники это, сама понимаешь...
- И при чем же здесь мы? – Наташа, разумеется, помнила, что единственного сына Титании от всех ее мужей и любовников зовут Семеном и что Семен этот лет на шесть от силы моложе самой Стафеевой.

Логично, что бабушка завещала квартиру внуку. Можно, конечно, вяло порадоваться за нового хозяина квартиры – так же вяло поскорбев о кончине хозяйки, но дальше-то что? Сколько еще стоять у окна в пижаме?

- При том, что надо помочь Таньке разобрать вещи в квартире. Она отдает все подряд, ничего мне, говорит, из того дома не нужно. Вроде бы све-кровь ее не любила.
- Не верю, ее все любили, – сказала Наташа. – Все свекрови и все мамы любовников.

Это, кстати, было правдой. Титания после расставания с каждой ослиной головой сохраняла милейшие отношения с женщинами, которые произвели ее мучителей на свет, – навещала в больницах, поздравляла с праздниками, одной даже связала тапочки крючком. Тапочки! Крючком!

А эта вот, значит, не любила.

- Что, прямо сегодня надо ехать? – тоскливо спросила она.
- Да, Наташечка, прямо сегодня. Даю тебе час на кофе с душем – а потом дуй в Митино. Еще и в Митино!
- Хорошо начинается Новый год, – ворчала Стафеева, заправляя кровать по линеечке. – Могла бы спросить вначале: может, у тебя планы на сегодня, Наташа? Может, ты хотела спать до вечера, а потом дочитать, наконец, новый роман Боярышников, который ни разу не Шекспир, но стоит в плане издательства на март?..

Прозаик Боярышников – это был персональный кошмар Наташи Стафеевой, тоже на свой лад пы-тавшийся захлестнуть ее мир. И мир читателя. И свои собственные тексты.

Конечно же, книги должны и могут быть разными. Боярышников имеет право писать так, как дышит – прерывисто, хрипло и громко. Кого интересует, что редактор Стафеева, рядовая лошадка большого издательского дома, любит просторные тексты, где метафоры отмеряют гомеопатическими горошками на ложках, а прилагательным объявлен последний и решительный бой? Боярышников упрямо впи-хивал по три прилагательных подряд в каждую фразу – они там ну никак не удерживались, норовили соскользнуть и забыться: но автор бдительно от-слеживал все свои «ровные, белые, восхитительные зубы» и «нежные, теплые, розовые губы, напоми-навшие тугой бутон».

Каждую новую книгу Боярышникова ждало ровно то же самое, что предыдущие, – громкая презента-ция, два-три интервью, молчание критиков и мини-мальные продажи. Но издательство, где трудилась Наташа, терпеливо публиковало его новые опусы – потому что где-то там, наверху, у Боярышникова имелись настолько прочные связи, что ими можно было бы задуть кого-нибудь при надобности: как проводами.

Новый год еще сам себя не осознал – шли его первые сутки. По пути на автобусную остановку в сей безжалостный час Стафеева встретила только собачников, терпеливо выгуливающих питомцев, – почему-то сегодня утром попадались сплошные шпицы.

В автобусе было тоже не сказать чтобы очень людно, странно, что он вообще ходил и пришел. А в метро Наташа совсем загрустила. Надо было от-казаться Лильке – что это такое, вообще, вытаскивать людей из теплой постели первого января?

Топоча по переходу, Стафеева вспомнила широ-кую Лилькину улыбку и пробормотала:

- Где грифель мой? Я это запишу, что можно улы-баться, улыбаться и быть мерзавцем...

Перегоны между станциями в этой части синей ветки Наташа не любила – они были, по ее мнению, уж слишком длинными. Было неуютно находиться в туннеле: казалось, что это затянущийся аттрак-цион, в котором она согласилась участвовать из глупой отваги. К тому же в вагоне она была одна – никто не хотел ехать сегодня в Митино, у всех нашлись более интересные дела. Даже голос, объ-являющий станции, звучал как-то издевательски –

следующая станция «Строгино»... «Мякинино»... «Волоколамская»...

Из метро Стафеева вывалилась такой уставшей, как будто уже разобрала вещи не в одной квартире, а в нескольких. Проверила адрес, который прислала Ивашевская, – нужный дом находился в переулке Ангелов.

«Какие уж тут ангелы», – ворчала про себя Наташа, шагая по Митинской улице. Читала по редакторской привычке все, что было написано на вывесках и заборах (а не выпал бы снег, так и на асфальте). Аптека, ломбард, разливное пиво, пицца, банк, салон женского белья, сладкая экзотика, домашний текстиль – вывески, как плечами, теснили одна другую. По части торговых центров Митино превзошло все окраины – мало того, что здесь работал радиорынок, так еще и на каждом углу подмигивал то синим, то красным неонам очередной торговый центр.

Раньше это была деревня. В деревнях люди объединялись в храмах, а теперь – в храмах торговли.

Москва, подбиравшая окрестные деревни, как юбки, внезапно снова стала распадаться: теперь уже не деревни, но спальные районы стали особыми географическими единицами, жители которых отличались от соседей укладом и даже чем-то вроде местных традиций. Общей была удаленность от центра, семнадцатизэтажные дома-ширмы 1990-х и неприменные качели у метро.

Окна в домах сияли разными цветами – не так, как в Наташином детстве. Были желтые традиционные, белые энергосберегающие, ядовито-розовые – там использовали лампы особой подсветки для комнатных растений (по слухам, бессмысленные), синие – где гулял вечный праздник новогодних гирлянд.

Переулок Ангелов сворачивал от Митинской влево... Возможно, здесь кому-то в незапамятные времена явился ангел*? Или тут жил какой-то выдающийся болгарин по имени Ангел? Русский по фамилии Ангелов?

Стафеева была так чувствительна к топонимам, что это граничило с манией. Надуманной к тому же. Когда она в сентябре начала искать квартиру – а это нелегко, попробуйте сами снять жилье в Москве, когда параллельно с тобой по рынку рыщут неутомимые и никогда не спящие родители первокурсников со всей России! – то отвергла прекрас-

ный вариант у «Динамо» только потому, что улица называлась 3-я Бебеля.

– Не могу я жить на третьей Бебеля! – Стафеева сказала как отрезала и в следующий раз просто отказывалась смотреть квартиры, расположенные на неблагозвучных улицах.

Титания, рекомендовавшая ту самую Бебеля, всерьез обиделась и отказалось участвовать в дальнейших поисках.

Улица Рочдельская звучала тоже не идеально, но все-таки прошла первичный отбор – к сожалению, там были другие проблемы. Квартиру сдавала родственница умершей генеральши: это было Наташе не по средствам, сразу ясно. Но родственница настаивала – хотя бы посмотрите! Она была тоже подружкой или коллегой: Стафеева теперь уже не могла вспомнить, чьей.

Громадная квартира, заставленная, как с перепугу показалось Наташе, чучелами и зеркалами, выходила окнами на Белый дом.

– Если что, пригнешься, – шепнула Лилька, которую Стафеева попросила съездить на смотрины вместе.

Вазы, канделябры, плюшевые диваны – и повсюду вещи прежней хозяйки, которые пока никто не собирался вывозить и раздавать. Шкафы ломились от платьев, платья пахли духами – и, возможно, духами.

Еще стоя на пороге, Наташа поняла, что не сможет здесь жить, – и с облегчением услышала неподъемную цену, которую назначила родственница.

– Зачем она вообще нас сюда зазывала? – возмущалась Лилька на пути к метро.

– Не знаю, – пожалала плечами Наташа. – Может, ей просто хотелось похвастаться? У нас вот с тобой нет таких квартир, а у нее – есть.

Лилька промолчала, значит – согласилась.

Добрых три месяца (ей они показались злыми) Стафеева моталась по разным концам Москвы. А потом, как по волшебству, подвернулась идеально пустая белая квартира на Малахитовой улице – Наташа по чистой случайности ухватила ее первой, потому что позвонила, как только вывесили объявление. В чем была, помчалась на встречу с хозяйкой, прихватив с собой все документы и залог за два месяца. Красилась в метро, чтобы произвести хорошее впечатление, – но хозяйку квартиры Наташина красота интересовала в меньше степени, чем платежеспособность.

«Но улица Ангелов тоже неплохо звучит», – признала Стафеева, сворачивая во двор вроде бы нужного дома.

* Наташина версия ошибочна – переулок Ангелов получил свое название по московской деревне Ангелово (оно первично), а вот являлись ли кому-то ангелы в деревне Ангелово, доподлинно неизвестно.

Домофон чирикнул, и дверь, не ответив, открылась. Пятый этаж, из лифта направо.

Наташа толкнула дверь и очутилась посреди всех своих ночных кошмаров разом.

- Не разувайся, – махала руками Лилька, кое-как различимая из-за терриконов книг.
- Я и не думала, – сказала Стафеева, пытаюсь пристроить свой пуховик поверх зыбкой пирамиды из разномастных коробок.

Титания нашлась в кухне – еще сильнее, чем всегда, озабоченная, она складывала стопками какие-то тарелки.

- Бери все, что понравится, – сказала вместо приветствия. – Мне отсюда ничего не нужно.
- И мне не нужно, – отозвалась Стафеева. – Покажи лучше, что надо делать.

Она как-то занервничала в этой квартире, почувствовала себя вдруг маленькой девочкой. Мать часто просила ее помочь с чем-нибудь, но на качество этой помощи сердилась – дочь все делала не так, как нужно, и финал был вечно такой: мама выполняла работу одна, а Наташа переминалась с ноги на ногу, тоскливо мечтая о том, когда все это закончится и можно будет вернуться в свою интересную жизнь.

- Ну вот цветы надо вынести вниз, на почтовые ящики.

Цветов было много – огромные, разросшиеся, явно любимые, они лезли из горшков с какой-то яростью. Один из них (Наташа не слишком разбиралась в комнатных растениях) отрастил такие «волосы», что они доставали до пола. Наташ взяла горшок с длинноволосым растением, и с него тут же посыпались сухие листики.

Почему-то ей стало жаль этот цветок – и хозяйку, которая умерла, оставив после себя столько никому не нужных вещей.

(После меня останется самый минимум, пообещала неизвестно кому Стафеева, придерживая ногой входную дверь.)

У почтовых ящиков она столкнулась с Аней Капитоновой, работавшей вместе с ними в медиахолдинге до того, как Наташа ушла в издательство. Судя по всему, Ивашевская мобилизовала всех своих знакомых. Просто Виктор Цой какой-то, подумала бы Наташа, будь она постарше лет на пятнадцать, – Цой мог собрать полный зрительный зал за час до концерта, но Наташа была из другого поколения и подумала другое: Лилька все-таки страшный человек!

- Куда ты его тащишь, бедолагу? – запричитала сердобольная Аня, выхватывая из рук Стафеевой длинноволосый куст.
- Титания сказала, на ящики.

- Да пропадет он тут! Никто не заберет!

– Ну некоторые же оставляют в подъезде... Для красоты.

- Красота невозможная, – скептически сказала Аня, но все-таки водрузила горшок поверх почтовых ящиков и даже как бы причесала его, сделав максимально привлекательным для новых хозяев. Может, кто-нибудь соблазнится.

Поднялись в квартиру. Капитонова тут же принялась оплакивать другие горшки, но поскольку забрать их себе она при этом не предлагала, то никто ее особо не слушал. Наташа, радуясь, что нашла себе хоть какое-то занятие, перетаскала вниз все цветы и превратила почтовые ящики в нечто вроде зимнего сада, какие обычно бывают в пансионатах средней цены. Ей, как в детстве, хотелось спросить, можно ли уйти, но детство давно прошло, а дружбу, как уже говорилось выше (или только подумалось), никто не отменял.

Лилька колдовала над какими-то тряпками, в которых угадывались уже раскроенные платья – видимо, хозяйка шила. Ну конечно же, шила: в углу большой комнаты стоит «Зингер».

- Машинку я заберу, – предложила Аня. – У меня се-стра шьет.
- Забирай, – согласилась Титания. – Вообще все забирайте, только скорее решайте, что кому, – в шесть часов приедут грузчики. Попробую всучить им ковры. Никому ковры не нужны, девочки?
- Один можно у ящиков постелить, – сказала Стафеева.
- Точно! – обрадовалась Титания. – Вот и займитесь с Капитоновой.

«Интересно, а почему счастливый хозяин квартиры не участвует в разборе квартиры?» – думала Наташа, скатывая пыльный ковер в рулон. Аня в это время звонила своей взрослой дочери, просила, чтобы та приехала за «Зингером» в переулок Ангелов, – но дочь сказала, что вызовет маме грузовое такси.

Наверное, и Семен самоустранился из нежелания участвовать в этом пиршестве воронов (почему-то Стафеевой пришло в голову сравнение в духе писателя Боярышников). Наташа хихикнула, глядя на своих подруг, целеустремленно раскапывающих завалы вещей. Они напоминали давно-давно виданных в парижском универмаге Tati покупательниц: те буржуазные французские дамочки орудовали в ящиках уцененного белья с такой же страстью.

Удивительно, но Стафеевой вдруг тоже стало интересно заглянуть в какой-нибудь ящик комода – всего лишь заглянуть, не более того.

Вдвоем с Аней спустили вниз ковер, попытавшийся упасть по пути на Стафееву. Вывалились из лифта почти веселые, долго выравнивали ковер на полу. Капитонова сказала, что заодно покурит, Наташа вышла с ней на улицу за компанию. В переулке Ангелов было снежно и тихо.

- Танька сказала, что сын хотел вообще все оттуда выбросить. Молодые все сейчас такие.
- Можно ведь продать кое-что. – Стафеева вспомнила советы петербургского антиквара. – Если в квартире не делали ремонт в течение пятнадцати лет, там вполне могут обнаружиться ценные вещи.
- Да неохота ему! А хранить этот хлам негде. Вот и представь себе, Наташка, живешь ты, живешь целую жизнь, делишь ее с какими-то важными и нужными предметами, бережешь их, протираешь тряпочками... Потом приходят наследники – и фьюить! – Аня махнула сигаретой с такой яростью, что чуть не выронила ее в сугроб. – И нет ни тебя, ни памяти о тебе. Только окрестные бомжи помянут тебя тихим добрым словом, когда пойдут в твоём пальто побираться.

Поэтическая речь Капитоновой отозвалась в Наташе тоскливой болью – будто нерв защемило. Она сразу вспомнила, как отнесла однажды старый пиджак на помойку – и увидела его спустя пару дней на старой спившейся даме: та вышагивала гордо, как в Шанели, и даже приколола на лацкан какую-то брошечку. Стафеева, глядя на возвращение пиджака, испытала сложносоставное чувство: с одной стороны, хорошо, если ненужная тебе вещь послужит еще кому-то, с другой – Наташе стало почему-то не по себе. Как будто бы это не вещь твоя, а часть тела передвигается в пространстве – причем новый хозяин может распоряжаться ею совершенно свободно. Чувство жалости и небывалая тоска свалились тогда на Наташу, и она дала себе слово впредь относить вещи на переработку, как бы ни подмывало бросить их в ближайший контейнер.

В квартире меж тем кипела работа – Лилька выбрала себе какие-то гэдээровские (Наташа не поняла, что это значит) тарелочки с цветами и золотой каймой (в микроволновку такие нельзя), Титания заканчивала паковать книги (их в квартире было много, но никаких жемчужин работники слова среди них не обнаружили – сплошь советский шлак и никому теперь не нужные классики) и уже поглядывала в сторону пластинок в полинявших конвертах.

- Наташка, тут вот «Гамлет» пятьдесят шестого года, детгизовский, нужен тебе? – спросила она у Стафеевой. Спросила без вопросительной ин-

тонации, как бы констатируя факт – не нужен, мы все это знаем, так уж, для порядка спрашиваю.

Наташа взяла в руки потертый томик. Перевод Пастернака, любимый. На обложке – унылый женственный Гамлет. Подпер щеку обеими руками, обдумывает – быть или не быть?

Титания забрала у нее книгу, погладила обложку пальцем и фыркнула:

- Ну надо же, как на Витьку похож!
- Витька – сын хозяйки квартиры, первый муж Титании.
- Девочки! – воодушевилась Лилька. – А давайте погадаем!
- Я на «Гамлете» не гадаю, – сказала Стафеева. – Слишком опасно.
- Да не бойсь ты! Вот я наугад открою, ты скажи, какая строка сверху или снизу.
- Девятая. Сверху.

Лилька открыла книгу и под общий смех прочитала:

- Так погибают замыслы с размахом, когда-то обещавшие успех...
- ...от долгих отлагательств, – кивнула Наташа.
- Это нам всем знак, что надо работать и не отвлекаться, – сказала Титания. – Так берешь книгу, Стафеева?

Наташа почему-то кивнула. И разозлилась на всех сразу – даже на Шекспира. Зачем ей этот ветхий томик?

От злости потянула на себя ящик комода (или, может, буфета? Раньше это вроде бы так называлось) и чуть не задохнулась от отвращения. Там лежали волосы – отрезанные и сплетенные в косу.

- Подумаешь, – пожалала плечами Аня. – такое у многих есть. Можно сдать по объявлению, на парики.
- Нет! – тонким голосом крикнула Титания. – Никаких париков! Прихвати тряпкой вот так, чтоб рукой не касаться, – и в ту коробку, это на выброс.

Наташу все еще слегка подбрасывало от омерзения, оно бежало по позвоночнику, спускалось к ногам.

Хотя, если подумать, ну что такого? Чем эта отрезанная коса красивого, кстати, золотистого цвета, отличается от детгизовского «Гамлета»?

Стараясь не думать о том, какие еще бездны может таить в себе комод-буфет, Стафеева открыла другой ящик – и высвободила из плена палехскую шкатулку, на крышке которой красавица в красном платке явно намеревалась пойти навстречу своим грешным желаниям с молодым ямщиком, а рядом в нетерпении переминалась с ноги на ногу тройка тонконогих жеребцов.

– Титания, ты представляешь себе, почему нынче палех? – поинтересовалась Стафеева.

– Понятия не имею. Лучше скажи, с каких пор тебя интересуют старые вещи?

Наташа, не ответив, открыла шкатулку – там лежал змеиный клубок цепочек и бус, вроде бы золотые серьги, а еще совершенно новые запонки, прикрепленные к кусочкам картона, и кольца. Четыре кольца.

Раньше их, наверное, называли бы перстнями.

Первое было, судя по всему, из мельхиора – темный мягкий металл окружал затейливыми витками горбатый зеленый камень. «Таким удобно стучать кому-нибудь в спину, – подумала Стафеева. – Простите, пожалуйста, не могли бы вы...» Камень вроде бы похож на малахит, а впрочем, кто его знает.

– Змеевик, – сказала Лилька. – Ой, девочки, у моего Сереги продавался недавно календарь с камнями совершенно дивный!

Второе кольцо было широкое, как проволока от советского шампанского, и так же точно царапалось (Наташа потихоньку примерила его – и сразу же стащила с пальца, вспомнив о своей знаменитой брезгливости). Оправа напоминала кованую садовую решетку и обрамляла непрозрачную каменную каплю мятного цвета.

Третий перстень – с янтарем грушевидной формы, глядевшим из серебряной оправы, как из окна. Сверху торчали три маленьких цветочка. Это кольцо у хозяйки было самым любимым – судя по мелким царапинам и довольно заметному пятнышку рядом с пробой. Янтарь был живой, оттенка гречишного меда – и казалось, что если ударить по нему хорошенько, то камень треснет и польется оттуда сладкая вязкая жидкость.

В четвертое кольцо Наташа влюбилась. Хорошо оговоренный голубой топаз поймал последний луч жалкого московского солнца – и подмигнул ей от души. Стафеева растерянно крутила кольцо в руках, не решаясь вернуть его на место, в шкатулку.

Кольцо как будто бы не хотело туда возвращаться!

«Моя прелесть», – подумала Наташа, а вслух сказала:

– Ну вот эти кольца точно можно выгодно продать!

– Да не будем мы ничего продавать, я же объяснила! – разозлилась Титания. – Нравится – бери. Носи, продавай, мне все равно.

Но все-таки подошла, заглянула в шкатулку.

– А, это Витькиного отца работа. Он был ювелир-самоучка. Любил вот такие цветочки клепать.

– Но ведь красиво, – робко сказала Стафеева. – Красивые кольца.

– Ты нормально себя чувствуешь? – забеспокоилась Лилька. – Я на тебе отродясь никаких колец не видала, а это вообще какие-то дикие перстни из прошлого.

«Красивые», – упрямо думала Наташа.

Из квартиры они выбрались поздним вечером. Семен соблаговолил прибыть после десяти, уже после того, как разъехались грузчики (Титания подарила им гарнитур из четырех крепких стульев и тумбочку). Развез подруг по домам. Наташа прижимала к себе пакет, до краев набитый ненужными ей вещами, – к Шекспиру и шкатулке с украшениями (там были не только кольца, но и запонки, и мертвый узел цепочек, и золотые серьги: показалось неправильным их разлучать, как сестер в детдоме или близнецов в армии) добавился синий с золотом заварочный чайник (у Наташи были в ходу исключительно пакетики), стопка хрустальных розеток (варенье она не ела) и картинка с поломанной рамой, изображавшая грустную собаку.

Лилька несколько раз порывалась пощупать Стафеевой лоб, но та вырывалась, отшучиваясь.

– А как звали твою свекровь? – спросила Наташа у Титании, прежде чем расстаться.

– Марина Леонидовна.

Наташе ничего не сказало это имя с отчеством – что было, в общем-то, странно, потому что имена и названия с ней обычно разговаривали и вели себя откровенно, как старые подруги. Такие, которым не обязательно благодарить друг друга за помощь – она как бы сама собой разумеется, идет в комплекте.

Пакет с трофеями Наташа оставила в прихожей своей белой квартиры. Сначала хотела убрать его с глаз долой в шкаф, но потом передумала.

Вещи Марины Леонидовны не подходили к Наташиному жилью, к ее образу жизни, к самой Наташе. Но почему-то она захотела унести их с собой – а почему, это ей было неясно.

Хотела спросить у подруг, но застыдилась. Лилька и так издевается, Ане все равно, а Титании хватает забот с ремонтом и ослиной головой, твердо, судя по всему, настроенной на побег.

Ночью она никак не могла уснуть: представлялись то ковры, то цветы в горшках, но чаще всего кольца – катились по кругу, образуя еще одно кольцо. Сто раз, кажется, перевернула подушку на другую сторону, потом проветрила комнату (зеленая штора тут же забеременела, выставив тугий живот), попила воды, съела полпачки печенья – бесполезно, сон не шел.

Включила компьютер, залезла в файл с новым романом Боярышниковой – но не могла сосредото-

читься, не понимала сюжета, который, худо-бедно, в романе все-таки был. В полном унынии открыла фейсбук – и увидела там Боярышникова: он, судя по всему, вообще никогда не спал. «Сочиняет, поди, очередной шедевр», – злобно подумала Стафеева, и Боярышников, как будто услышав ее, тут же прислал сообщение: «Не спится, госпожа редактор? Может, встретимся на каникулах, обсудим правки, если они будут, конечно?»

Если будут!

«Конечно, встретимся, Андрей Валентинович. А скажите, у вас нет случайно знакомого, который разбирается в ювелирных украшениях?»

«У меня все есть! Вам купить или продать?»

«Проконсультироваться».

«Вы же знаете, я всегда рад помочь. Сейчас скину контактик».

Прислал номер телефона и фамилию: Золотой.

«Это не фамилия, а прозвище, – пояснил писатель. – Зовут его Саша. Он работает в ломбарде у трех вокзалов, объяснит, где искать».

Стафеева поблагодарила Боярышникова и обещала написать ему как можно скорее по поводу встречи. Потом вышла в прихожую и пнула пакет с вещами Марины Леонидовны, но он даже не упал.

На другой день Наташа вполне объяснимо спала почти до обеда. А проснувшись, впервые не почувствовала радости от своей пустой белой квартиры – той радости, которая сопровождала ее здесь каждое утро.

На звонок Саша Золотой ответил сразу. Голос у него оказался бодрым и очень молодым.

– Да! Здравствуйте! С новым счастьем! Помню такого, да. Привозите. Да хоть сегодня привозите, я всегда работаю. Я раб лампы!

Наташа достала из пакета шкатулку, а потом, подумав, все-таки переложила кольца и сережки в кулечек с надписью «Счастливого Нового года!» – в нем лежала подаренная кем-то с работы свечка в виде елки, давно упокоившаяся на дне мусорного контейнера. А вот пакетик Стафеева промыслительного сберегла – и вот, пожалуйста, сгодился.

Автобус пришел быстро, на лицах пассажиров уже не было того глуповатого предвкушения счастья, которое посещает каждого из нас под Новый год. «Увидели свои подарки и все поняли», – подумала Стафеева, нащупав в кармане пуховика кулечек с кольцами. Вдавила его в ладонь.

Саша Золотой скрывался за бронированной дверью с глазком и домофоном – пришлось звонить и довольно долго ждать ответа. А когда толстенная сейфовая дверь открылась, Стафеева увидела перед

собой жаркого восточного юношу с чуточку пльвущими к вискам глазами. Если посмотреть внимательнее, заметишь, что юноша он уже лет двадцать как, но кто будет его внимательно разглядывать? Точно не Наташа.

– Заходи, показывай, – сказал Золотой.

Наташа дернулась, вспомнив присказку одного из своих давних ухажеров: «Раздевайся, ложись, закуривай».

– Кофе будешь? У меня растворительный, но очень хороший.

Золотой с удовольствием коверкал слова, шаркал при ходьбе ногами (был он почему-то в домашних шлепанцах) и взял Наташин кулечек с кольцами без всякого почтения.

– Точно не хочешь кофию?

– Ну давайте, то есть давай...

Через минуту она пила, обжигаясь, горькую черную бурду из страшной чашки, а Золотой сопел над кольцами Марины Леонидовны.

– Там еще сережки, – вякнула Стафеева.

Она еще утром решила, что если сможет продать украшения, то честно отдаст все деньги Титании – той вечно не хватало средств для ублажения ослиной головы. А почему она так упрямецствовала, не желая брать «ничего из этого дома», Наташа поняла еще ночью, во время затяжного бодрствования: Марина Леонидовна не любила Титанию, и та из суеверия считала, что эти вещи не принесут ей ничего, кроме беды. Титания наделяет каждую вещь душой, думала Наташа, но это бред, никакой души у вещей нет – она и у нас-то не факт что имеется. И если так рассуждать, тогда и квартиру не нужно было принимать в дар: из этого дома не возьму, а сам дом – возьму, так, что ли? Но квартира-то не ей досталась, а сыну, спорила сама с собой бессонная Наташа. И не просто квартира, а московская – понимать надо.

А вот деньги, вырученные за украшения, будут просто деньгами, надо только подумать, как всучить их Титании.

Лилька подскажет! Она в таких делах больше разбирается.

На том Стафеева и уснула в ту ночь и увидела во сне какую-то незнакомую женщину с очень строгим взглядом – это была, по всей видимости, Марина Леонидовна, сотканная Наташиным воображением из бессонницы и нервного перенапряжения.

– Шляпа, – сказал Золотой, бросив сережки обратно в пакетик.

– В смысле? – Наташа не поняла, что значит «шляпа», а когда она не понимала значение какого-то слова, то впадала в панику.

- Ну никакой ценности не имеет. Это не золото.
Он выдвинул ящик стола, достал оттуда полиэтиленовый пакет, битком набитый обручальными кольцами.
- Вот, бери.
- Не надо мне! – Наташа так напугалась, как будто Золотой внезапно предложил ей руку и сердце (и двести, навскидку, обручальных колец в придачу).
- Да не бойсь! Просто ощути, как золото лежит в руке. Оно совсем по-другому чувствуется. Вот, возьми теперь свою сережку.
- Она не моя, – глупо сказала Наташа, но сережку все-таки взяла и взвесила ее на ладони, как велел Саша.
- Действительно, разница. Обручалка лежала увесисто, значимо. Сережка была невесомой и легкомысленной, как мечта о свободной жизни без всяких вещей.
- Так, теперь эти... – Золотой разложил перед собой перстни Марины Леонидовны. Витое, с зеленым камнем, забраковал сразу: – Это даже не серебро. Вот эти серебряные, но много ты за них не выручишь. Камни несерьезные.
- А как отличить серебро? У вас же какие-то приборы должны быть для этого.
- Я сам себе прибор! – жарко хохотнул Саша и снова помолодел. – Понюхай вот это колечко. – Он протянул ей перстень с топазом, тот, полюбившийся.
- Она понюхала.
- Чувствуешь кислинку?
- Вроде бы да. Чувствую.
- А теперь вот это понюхай.
- Наташа покорно взяла витое колечко, и у него действительно был совсем другой запах.
- В общем, я не советую все это продавать. Оставь себе как память.
- Какую еще память?
- Золотой взглянул удивленно:
- Ну это же чьи-то! Работа неумелая, но с душой. И они любимые, видишь, их часто носили.
- ...Сдирали с пальцев поспешно – когда приходишь домой уставшая и мечтаешь только о том, чтобы принять душ и упасть в постель. Надевали, подбieraя к платью. Специально подносили к солнечному лучу, прокравшемуся в комнату, чтобы любоваться игрой света. Роняли и поднимали. Забывали и находили. Хотели подарить или передать кому-то по наследству – но кому? Сын умер, невестка – гадина, внуку такие точно ни к чему.

Снега больше не было, под ногами чавкал растаявший бурый шербет. Наташа целую вечность шла к метро, перебирая в кармане кольца. Она не знала, что будет с ними делать теперь, когда ей точно известно – у них нет цены. Носить их она точно не станет, но просто сбережь для чего-то или кого-то? Сделать это в память о неизвестном человеке, который прожил целую жизнь и оставил о себе целую гору никому не нужных вещей?

Такая же гора останется после каждого из нас – накопленные, подаренные, купленные, найденные вещи.

После всех – кроме Наташи Стафеевой.

Хрустальные розетки, запонки, отбракованные сережки, синий заварочный чайник, картинку с собакой в поломанной раме она отвезет своей маме: мама решит, что с этим делать.

А кольца, наверное, все-таки оставит себе. С неизвестной целью.

Наташа довольно долго думала об этом, разглядывая башенки Ярославского вокзала. А потом подошла к ближайшей урне и бросила в нее кольца, даже не достав из пакета.

Урна была пустой, и пакет, приземлившись, звякнул.



ОТЕЦ

РАССКАЗ



САША НИКОЛАЕННО
Родилась в Москве в 1976 году. Прозаик, художник, иллюстратор. Лауреат литературной премии «Русский Бункер» за лучший роман на русском языке. «Убить Бобрынина. История одного убийства». Финалист литературной премии «Ясная Поляна» за роман «Небесный

почтальон Федя Булнин». Прозаические публикации в журналах «Урал», «Новый мир», «Знамя», «Сибирские огни». Лауреат премии журнала «Этажи» в прозаической номинации «Сестра моя — жизнь» в честь 130-летия Бориса Пастернака за подборку рассказов «Ответный удар».

«Ничего нет лучше, чем ничего». Отец любил произнести этот тост перед только что загрунтованным полотном, после чего выдавливал тюбики на палитру. Результат служил очевидным доказательством произнесенного. Белый холст вселяет надежду, однако попробуйте ее оправдать, создать что-то идеальнее белого. Что-нибудь, что не выглядело бы попыткой замарать божественный спектр.

Все начинается с ничего и заканчивается ничем, чтобы снова начаться. Логично, но довольно бессмысленно, на мой взгляд. Отец же, несмотря на свой спич, без сомнения, видел смысл в том, чтобы превращать ничего в ничего, окончательно лишённое смысла. Мама считала, что смысл есть во всем, и на все воля Божья. «На все Его воля», вот еще одна очевидная истина — покажите мне человека, что явился на свет по собственному желанию и ушел согласно своим надеждам.

Точно так же не своей волей, но согласно отцовскому вдохновению, на полотнах его появлялись целые симфонии хауса и абсурда. Какие-то кляксы, восьмерки, квадраты и треугольники, оторванные ноги-руки, уши-губы-носы — словом, все то, что в ослепительно белом рассмотреть невозможно. Все то, что нарушает его гармонию. Таким образом, с каждым мазком отец лишь удалялся от идеала.

Это были и пейзажи удивительной красоты, писанные неделями, иногда месяцами, доведенные до

совершенства и за час изуродованные, закрашенные, свернутые в воронки, запятнанные, пробитые чернотой (я не говорил, что он был не талантлив, скорее, он был талантливый одержимый). Безнаказанный, ибо пейзажи эти принадлежали ему одному. Быть может, за левым его плечом никогда не стоял ангел, что удержал бы его за руку. Он был болен творением, но не ради создания — в ожидании уничтожить.

Некоторые картины были до того яркие, что почти приближали ощущение белого, однако при взгляде на них слепило глаза и сводило оскоминой зубы. Быть может, он просто надеялся создать что-то новое, дней эдак за шесть, а то и за час, на основе теории сотворения мира или большого взрыва, что, по сути, одно и то же. Иногда, сидя перед холстом в своем синем халате, он и в самом деле напоминал известную кафедральную мозаику Монреалья.

* * *

«Ничего нет лучше, чем ничего». Мальчик, увлеченно раскрашивающий фломастером собственные каракули, не украсит ими альбом. Сколько таких альбомов, бережно хранимых мамой, перевязанных в стопочки, я предал во время ремонта мусорному контейнеру. Впрочем, потом жалел. Бумага, испач-

Зато у нас были гуппи. Шикарный аквариум, подаренный кем-то из отцовских приятелей в лучшие времена. «Лучшие времена» у нас тоже были. Именно об их возвращении, веруя в Александра Сергеича, я загадывал, вылавливая рыбок сачком, но они не исполняли желаний. Мы с мамой по-прежнему плыли вдвоем в разбитом корыте по воле неторопливых будничных волн. Рыбки иной раз всплывали вздутыми брюшками вверх, по-прежнему бессловесные, не выдержав моей веры. Впрочем, и моя вера в них постепенно таяла.

канная абракадабрами моего первобытного творчества, хороша для растопки и ничем не хуже, чем «Правда». Понятия не имею, зачем мама продолжала выписывать эту газету. С тех пор как отец окончательно поселился у себя в мастерской, у нас не бывало традиционных выходных завтраков. «Глава семейства в ожидании трапезы уютно шуршит разворотом, кот у миски, жена жарит сырники, сынишка, пуская пузырьки, водит по столовой клеенке машинкой. После завтрака в зоопарк...»

Если уж писать эту милую сценку с нас, пустое место в отцовском кресле займет пирамида этой

макулатуры. Мама каждый вечер доставала газету из ящика и, войдя домой, сразу же говорила: «Сень, положи папе». Я шел на кухню и бросал газету в отцовское кресло. Правду за правдой. Стопка копилась, отец к нам не заходил. Когда газет становилось много, мама говорила: «Убери, пожалуйста». После школы я сбрасывал стопку на пол, складывал, перевязывал и уносил на балкон, потом мы сдавали «Правду» на вес, меняя на книги. Приемный пункт вторсырья был там, где теперь парикмахерская. Правда в обмен на Диккенса. Первый томик собрания – «Большие надежды». Помню, мама усмехнулась, когда взяла книгу в руки. Вера в Господа тогда еще не лишила ее чувства юмора.

Кота тоже не было. Лару пятнистую папа унес с собой, к тому же мама была аллергик. Зато у нас были гуппи. Шикарный аквариум, подаренный кем-то из отцовских приятелей в лучшие времена. «Лучшие времена» у нас тоже были. Именно об их возвращении, веруя в Александра Сергеича, я загадывал, вылавливая рыбок сачком, но они не исполняли желаний. Мы с мамой по-прежнему плыли вдвоем в разбитом корыте по воле неторопливых будничных волн. Рыбки иной раз всплывали вздутыми брюшками вверх, по-прежнему бессловесные, не выдержав моей веры. Впрочем, и моя вера в них постепенно таяла. «Покорми рыбок», – говорила мама, уходя на работу. «Ты кормил рыбок?» – спрашивала она, входя и протягивая мне «Правду». Она покупала корм и проверяла пакетики. Те пустели. На самом деле я был разочарован. Очень разочарован сказками Пушкина. И спускал мотылей в толчок. Мама даже написала мне черным фломастером на холодильнике: «Покорми рыбок!» Эта надпись служила причиной моей усмешки, когда я распаивал и захлопывал дверцу. Во-первых, я их презирал. Во-вторых, дрессировка: исполнишь желание – поешь. Дело, впрочем, кончилось плохо. Несколько мотылей не втянуло в слив, и мама увидела их, когда вечером решила помыть уборную. Она ничего не сказала мне, но заплакала. Я пришел, увидел тряпочку в лужице на полу, на ней парочку червячков, разом все понял и покраснел, как рак. Я и прежде знал, что ей лучше не знать о моих сложных отношениях с рыбками. Правда, дело не дошло до того, чтобы я вместе с ней заревел от жалости к пучеглазым, если уж на то пошло, почему бы не пожалеть заодно мотылей, погибших ради их пропитания страшной смертью. Можно с тем же успехом рыдать над котлетой или сосиской, над банкой тушенки. Плакать над сервелатом? Этого еще не хватало. В конце концов тут все так устроено, ты ешь корову, корова траву,

потом умрешь и станешь травой, корова съует тебя. Круговорот воды и обмен веществ, ничего личного к коровам и свиньям, кроме того, что я люблю сервелат. Создав все так и заповедовав «не убий», Господь, вероятно, имел в виду что-то совсем другое.

Нет, я не раскаялся, просто до того, как мама заплакала, я был хорошим мальчиком, и перестал им быть не потому, что спускал мотылей, а потому, что она об этом узнала. Она все плакала, всхлипывала и повторяла: «Зачем ты это сделал, Господи? Почему...» Люди часто спрашивают об этом у Бога. Просто мне, в отличие от него, пришлось отвечать за свои «неисповедимые» маме. Лишь Господь творит зло безнаказанно неподсудно. Зато и преступлений ему никто не отпустит.

Выслушав мои объяснения, мама перестала всхлипывать. Она была ошеломлена и не знала, плакать ей дальше или смеяться. Я не кормил их, потому что хотел, чтобы папа вернулся. Мне было семь, и я веровал в бога золотых рыбок. Взрослые часто забывают, что дети веруют в сказки, как сами они – в справедливость и жизненный хеппи-энд. В конце концов я поклялся ей «всем-всем-всем», что никогда так больше не сделаю... никогда. И я исполнил, что обещал. Скармливал рыбинам мотыля, добросовестно чистил аквариум и ненавидел. До тех самых пор, как перестал верить в золотых рыбок, джиннов, автобусные билетки, Деда Мороза и прочих богов. В любую добрую силу, что исполняет мои желания, кроме мамы и себя самого. Все прочие силы действуют во благо себе, и от завуча до бактерии – добро это то, что в твоих интересах.

Мама же была достаточно доверчива к «неисповедимым путям» и смиренна, чтобы после развода не лишать меня отцовского общества, и после уроков я обычно шел не домой, а к нему. Она работала до самого вечера, он же почти всегда торчал у себя в мастерской, у него было интересно.

Картины, что я видел еще вчера, исчезали бесследно. Секрета из их исчезновения он не делал – под свежим грунтом скрывались три, а то и пять-шесть его прежних работ.

В этом смысле он был чрезвычайно безжалостен... и плодovit. Иной раз работа не существовала и дня. И лишь избранные удаивались чести висеть на облупленных, закопченных табачным дымом стенах. Мамин портрет со мной на руках, например, провисел там до самой его кончины. Он умер летом восьмидесят шестого от апоплексического удара. Пролежал так три дня. Дверь мастерской он всегда держал приоткрытой, для Лары пятнистой. Благодаря этому кошка просто ушла и уже не вернулась.

Впрочем, может быть, она возвращалась, но дверь еще долго была опечатана. Мама говорила, что Лара «ушла вместе с ним». Ее дело. Она доверяла Господу. Верила в то, что он обо всех позаботится. Когда я попал в аварию и ослеп, она благодарила его, что я выжил. Я благодарил того неизвестного, что сбил огонь с моих рук. Сохранил мои руки. Быть может, это был господень архангел, но верую – человек. Она говорила: «Он не дает испытаний выше меры человеческого терпения...» Только вот зачем же тогда испытывать? Но об этом я никогда не спрашивал у нее.

Оставляя дверь приоткрытой, отец не опасался быть ограбленным. Заинтересовать грабителей в его святилище могли разве что несколько работ периода ученичества да те пейзажи, что еще не были подвергнуты уничтожению, остальное же, как говорится, было писано «от пророка отечеству», «не для века, для вечности», однако и посмертная слава их не настигла.

Мне кажется, он был слегка не в себе, то есть даже во всех смыслах был крепко со странностью. Огромное пятно сине-алого цвета с изумрудной подпалиной и ослепительно белым ядром, занимавшее центральное место на кухне (наш с мамой портрет ютился справа в углу), было его гордостью, и его приятели, творцы-алкоголики, тоже очень уважали эту дурацкую штуку. Я же не видел в ней ничего, кроме сходства со скворчащим белком, изображенным дальтоником. «Я тоже так могу, все так могут», – вот что я думал. Но приятели его говорили, что «яичница» что-то там источает, что это какой-то прорыв, куда-то прорыв и так далее. На мой взгляд, чтобы прорваться, легче было просто врезать по холсту кулаком. Вот это был бы настоящий прорыв. Холст, в нем дыра, за дырой стена и гудящие косточки. Прорыв из творчества до реальности. Самый удачный в этом смысле прорыв – окно. Застекленная рама, в ней небо. Плывут облачка и светит солнышко, от которого можно согреться. Так Господь дает понять своим плагиаторам, что у него работает все, что он пишет.

Насчет «согреться». Были у него две картины, какие мне очень нравились. Обе долго находились в изгнании, за стеллажами, и однажды исчезли. Надеюсь, он все же не записал их, как прочие, а продал – они были действительно хороши. Первая звалась «Папа Карло». На ней, кто-то очень напоминавший его самого, сидит в пустой обшарпанной комнате, спиной к зрителю, у полыхающего камина. Всегда терпеть не мог этого вертлявого длинноносого гнусавого мальчика из полена. В этом холсте

отец, вероятно, отправил говорящую деревяшку по назначению.

Вторая была еще интересней и даже правдивей первой. Хотя не знаю, обе картины были правдивы и интересны. Тот же человек, в той же комнате, опять спиной к нам, согревает руки у написанного камина. Кстати, идеальный баланс реальности и абсурда, правды жизни с самоиронией. Сам Господь топит нами камин. Все мы греем руки о пустые надежды.

Это было... по-настоящему. Так, как будто самходишь в комнату; еще шаг – и тень твоя потянется несуществующим полом к несуществующему огню, скрипнет сор под ногой, и сидящий вздрогнет и обернется. Ты не зритель – участник. Можешь повесить пальтишко на вбитый вместо вешалки гвоздь. Голые стены, опустошенные стеллажи. Живые отсветы пламени... можно было даже услышать радио (то есть радио бубнило за спиной у меня, в прихожей), но и там, внутри написанной комнаты, его было слышно. Можно было... тихо стоять за спиной человека, сидевшего у написанного камина. Почувствовать холод комнаты. Жар огня. Одиночество.

Так что картины эти вполне могли бы стать переходом если не в другие миры, то хотя бы в иные плоскости этого, какие отец искал, размазывая тюбики по холсту. Однако чести висеть на стене, как я уже говорил, удостоилась лишь «яичница». Впрочем, настал день, когда отец предал анафеме и этот шедевр. Снял со стены, загрузил и скончался. Видимо, действительно, это пятно много для него значило. Гораздо больше, во всяком случае, чем мы с мамой. Иногда он часами сидел на кухне и смотрел на эту картину. Что он в ней видел, бог его знает. Очень жаль, что не могу показать ее вам, вероятно, вы бы со мной согласились. Возможно, он и сам согласился со мной, когда ее снял.

Я любил отца, но был всего лишь одним из его «творений», которое он, быть может, тоже загрунтовал бы в целях экономии времени и создания чего-нибудь лучшего. Наверное, я его раздражал. Впрочем, чаще он меня просто не замечал.

А зря. Часами просиживая в его мастерской, я наблюдал за ним, забившись в угол, стараясь не раздражать его, не напоминать о себе, «мякая» меньше пятнистой Лары, делал не только уроки, но и выводы. Я учился. В конце концов мамулин Господь не так уж много времени дал мне на изучение и запоминание созданного им полотна.

Нельзя сказать, чтобы он писал свои «пятна» из головы. На широком подоконнике, рядом с лопухой головой Нефертити, которую, кстати, тоже не ми-

нула участь превращения в нечто лимонно-желтое на пронзительно красном, у него стоял микроскоп. Так что пятна эти писаны были с натуры; результат наблюдений за невидимым, но существующим. Отец смотрел в микроскоп и брался за кисть. Появлялось Оно – пятно, или пятна. Очередное творение, очевидно, какое-то время обладавшее для него смыслом, возможно, даже что-то и источавшее, чем-то заряженное. Его энергией? Да. Но недолго. Портреты покойников тоже обладают подобной энергией. Сперва они улыбаются вам из окон своих черных рам, слушают, хмурятся, одобряют, иногда даже сердятся. Пыль садится на фотостекло, свечи тают, копятя в блюде огарки, выцветают краски, ветшает паркет. Ремонт. Утепленный балкон. Соседи уже не те. Время тикает, заведешь ли, не заведешь часы, сохнет, осушив до дна рюмочку, одуванчик. Все эти горькие подношения мертвым живых – веточка сирени, симферопольский камушек, абхазская шишка. Мертвые отдаляются. Каменеют просфорки, облатки крошатся, заступники и угодники падают вниз за стол, их лень поднимать. Улыбки тускнеют. Годы меняют лица живых, над ушедшими время не властно, любимые образа по-прежнему только свет, только он все дальше и дальше.

Словом, никакого такого прорыва я в отцовских пятнах не видел, и смысла тоже. К чему повторять то, что уже существует, если это не так красиво, как Шишкин лес, дворики Поленова, март Левитана или долгие туманы Куинджи. Однако безумие заразительно, знаю одно: наблюдая за ним (тогда еще неосознанно), принял решение довести до шишкинского совершенства владение кистью и уже потом переносить на холст; но не то, что вижу снаружи, и не то, что видит он сам, увеличивая линзой чайную плесень с алоэ. «В моем шкафу кто-то есть...» Я хотел сделать видимым то, что, подобно пятнам в его микроскопе, существовало в моей собственной голове. Сделать видимым то, что никто, меня кроме, не видит. Сделать это реальностью для других. «Мы пойдем другим путем», – как говаривал Владимир Ильич в незабвенном забытом.

У мамы тогда был отпуск, мы с ней жили на даче, отца нашел один из его приятелей, и потом уже разыскали нас. Мама не взяла меня на похороны в Москву. Сдала на неделю соседке. Помню, я тогда чувствовал, что должен чувствовать «что-то такое», мне хотелось этому соответствовать, хотя бы в глазах соседки, и я действительно горевал – ревел, потому что уехала мама. Соседка жалела и утешала меня, не подозревая себя истинной причиной моего отчаянья; ведь если бы не она, мама взяла бы меня с собой.

Смерть же отца не была и так и не стала для меня реальным событием. Как в истории с котом Шредингера. Кот в мешке. Либо да, либо нет. Сидя в закрытом ящике, кот не жив и не мертв, пока не откроешь этот ящик Пандоры.

Люди не видят дальше себя и не понимают больше себя. Без зеркала вряд ли смогли бы с достоверностью описать свой собственный нос. А если зеркала врут? А они врут. И я подношу правую руку к стеклу, а мое отражение – левую. В этом все дело. И не только люди, блоха живет в шерстяном лесу, муравей, карабкаясь на вершину горы, не подозревает коленки, безграничное ограничено зоной видимости. Доступного знания, вот что я имею в виду.

Смерть же отца не была и так и не стала для меня реальным событием. Как в истории с котом Шредингера. Кот в мешке. Либо да, либо нет. Сидя в закрытом ящике, кот не жив и не мертв, пока не откроешь этот ящик Пандоры. Не сама смерть, а очевидность ее лишает возможности выбора, возможности чуда; знание ему приговор. Но и знание и очевидность напоминают ловушку для дураков, и тупик для слепцов не отменяет туннеля. Мир за стеной не перестанет существовать от того, что вам он не виден. Знание порождает вопросы. Час порождает час. Смерть порождает жизнь. Конечное знание невозможно там, где мир бесконечен.

Реальность – то, что можно увидеть, а мертвым отца я так никогда и не видел. Надгробие? Да, разумеется, наш гранит на Донском. Но позолоченные буквы в камне, с промежутком между датами, ничего не говорили мне и не доказывали. «Смерть Христа», великолепная копия Альтдорфера, на стене уборной его мастерской, и та гораздо убедительней и наглядней. Самый жуткий фантастический

сон – реальность для спящего. Я его не оплакивал и не хоронил. Собственно, так отцу удалось остаться бессмертным, в моей голове. Во сне я еще долго забегал после школы к нему в мастерскую. Но об этом потом. Жизнь в тетрадный лист не уместить, зато она отлично умещается в прочерк на могильной плите.

Возвращаясь в тогда, воскрешаю черно-белые снимки маминих фотоальбомов; я уже не могу их увидеть, но я их вижу. Вот еще одно доказательство существования абсолютно нематериального мира. Альбомов этих не существует, и не только потому, что я слеп, их не существует вообще. Мама под конец жизни страдала деменцией (еще одно божье благословение) – все забыть. А забыть ей хотелось. Большие надежды, папин уход, ослепшего сына... и особенно счастье. «Ничего нет лучше, чем ничего». Видимо, фотографии мешали ей это сделать. Так что однажды она выпотрошила альбомы в ванну вместе с коробками пленок, кое-что скомкала, кое-что порвала, залила папиным растворителем и подожгла. Жизнь сгорела. Дыма было много, и соседи по коридору вызвали нам пожарных. Но к тому моменту, как те приехали, я уже залил из душа это феерическое кострище.

С ней было очень трудно тот последний год. Без нее стало хуже.

Так вот, фотографии.

Вот на этой меня еще нет. Между прочим, вот вам отличный способ заглянуть в собственное небытие. Подтверждение, что и без вас «ходили трамваи». Мама с папой, несколько бородатых отцовских приятелей. Никого из них уже нет в живых. Подтверждение, что и после выхода нескольких пассажиров трамваи продолжают путь. Новый год. Все незнакомые, некого спросить «кто это, где это», ни «кто это», ни «где это» уже нет. А часики крутят усики дальше. Мама с папой у дверей нашего Хорошевского загса, тогда Ворошиловского. Загс через дорогу от нашего дома. Стоит до сих пор. Можно даже сказать, мир зиждется на этом бетонном убогом здании эпохи брежневского строительства. Счастливые. Очень счастливые. Отец совсем молодой, но уже с бородой. Похож на пирата. Мама... мама прекрасна.

А вот и я. Станный мальчик. Бедный папа, я и в самом деле ему не удался. На руках смеющейся мамы, очень юной, очень красивой (можно понять, почему отец влюбился и женился на ней), какой-то обрюзгший и мрачный карлик, маленький старичок, напоминающий изображение Спасителя периода Ренессанса. Не дай бог такое дитя протянет к тебе ладошку.

Помнится, разглядывая собрания отцовских пинакотек, этих всех чудовищных деток, похожих на гусениц, с безобразными ликами, все удивлялся, отчего они так уродливы, но они не уродливы. Просто они старики. Именно это несоответствие отвергал тогда детский разум. Ребенок хочет видеть то, что он понимает. Взрослым, увы, не хватает на это мужества. Собственно, перед вами плод эволюции. Венец творения, если хотите. Древний младенец. Дитя есть сумма опыта человечества, и не от момента зачатия, а от первого грехопадения.

Мальчик смотрит из прошлого в будущее. Похоже, ему не очень нравится то, что он видит. Взгляд буравит бумагу. Скорее, отталкивает, чем приближает, и этим притягивает. Темные глазки еще могут видеть, запоминать. И они видят, запоминают и впитывают. Наблюдая за ним отсюда, не могу упредить его, велеть ему не прикасаться к бумаге. «Ничего нет лучше, чем ничего». Отец, пожалуй, был прав, но теперь уже поздно, к тому же где тогда будет мое наскальное «я», «здесь был Вася» – вызов, кинутый вечности.

Белизна. За ночь выпавший снег, в котором еще не запутались человеческие следы, не смешались с птичьими и собачьими. Еще дворники не разбудили железным скрежетом умершего на ночь двора, не смешали соль, грязь и копоть автомобиля, но до этого недалеко. Всего лишь прикосновение фломастера к белому. И неважно, что нарисует этот жутковатый спутник моих детских забав, черно-белый мальчик, фотовспышкой пришипленный к прошлому, внимательно вглядывающийся в меня сквозь глазок вневременной фотокамеры. Моей памяти. Моей головы. Первая же линия, проведенная им на листе, станет границей, что безвозвратно превратит его в бога.

* * *

Практическую телепортацию я освоил лет в шесть. Машина времени из сейчас, правда, путешествия – пока лишь по предложениям каталога. Зато каталогов в моем турагентстве детства было бесчисленно. Подпирали стопками потолок. Услуга бесплатная, перемещение мгновенное – был и нет.

Путешествие на отцовском диванчике, в уголке у валика, за пятном-«яичницей», под ворчание холодильника, без чемоданов, сборов и спутников, перемещение не в пространстве – в пространствах. Нечто вроде опытов с квантами, перенос информации. Расщепление в А, появление в Б. Исчезновение

из шляпы кролика. Главный фокус всей моей жизни. Побег из реальности.

До сих пор не верите в возможность путешествий в пространствах вне времени? Это зря. Во-первых, авиалинии. Время вылета, скажем, десять утра, лету восемь часов, расстояние тысяч семь-восемь км, и посадка в одиннадцать, в то же утро. Возражаете насчет часовых полюсов? Не имею ничего против. Разумеется, время никуда не исчезло. Только вот я говорю вам это из 2019-го. А у вас какой теперь год?

Телепортация – фокус нехитрый. Шишкин лес? Пожалуйста. Эльбрус? Бога ради. Может быть, подножие Везувия? Да, гибель Помпеи – отличный выбор. В тот миг, когда выкипающая лава гнева Господня настигнет вас, вместе с остальными несчастными, серный дым застелет глаза, а смертельный ужас их отразится в ваших зрачках, просто перелистните страницу.

Хотите увидеть, как где-то там, внизу, замечает вьюга следы, как закручивает в снежные вихри запятые прохожих, унося их с хохотом в черные арки, как раскачивает качели, пронзительно завывая, проносится крышами, возносясь, превращает звезды в белую пыль, соседние башни – в призраки, фонари – в блуждающие огни? Просто подышите на морозный узор, пока закипает чайник. Вы в безопасности. На ужин макароны по-флотски, и пока вы будете ужинать, параллельный мир затянет свою полыню.

Кстати, я однажды провалился под лед. Как-то раз отец решил взять меня с собой на пленэр. До сих пор не могу понять, зачем было тащить в Серебряный бор этюдник со всем набором палитры, если он все равно писал только белый.

Дело было в конце февраля, я сбежал по откосу и, стараясь обратить на себя его внимание, заскакал по льду. Думаю, он не заметил бы, и если б я ушел под лед с головой. Но скакал я неподалеку берега и провалился только одной ногой. Все равно приятного было мало. Зато я понял, как тонки перегородки между реальностями, и с наслаждением проболел потом целый месяц.

Словом, нужно было просто выбрать, в какую из репродукций отцовской пинакотеки хочешь попасть, после чего сделать пальцы подзорной трубой, чуть-чуть настроить у носа видимость, четкость-резкость-контраст, и посмотреть в окошко. Остальное пространство – холодильник, наш с мамой портрет, пятно-«яичница», стол, буфет и окно, то, что в нем, сам отец, – станет зоной невидимой. Перестанет существовать. И окажешься где хотел...

Сурки Гойи, порталы
Босха и Брейгеля...
Брейгеля! Великого
мастера здешнего ужаса,
гения, в мертвом холоде,
треске крыльев черных
ворон охотники на снегу,
битва масленицы,
триумф... И самая жуткая,
нереально реальная,
ее я мог рассматривать
бесконечно... «Игры
детей»... Я поднимался
с дивана и шел за лупой.
Лупа – тоже окно
в реальность.

Беда в том, что альбомы этого «каталога», священные книги, предоставленные мне под грифом «смотри, но молчи», были, по сути, мировым собранием ужасов. Несмотря на разность сюжетов, глянцево-страницы представляли собой нечто единое. Веер кошмаров, картотека смертей, великолепное печатное качество, запах меловки с быстрым холодком у лица. Не дай бог, Господь Бог создал мир таким, каким он является...

Впрочем, кто же еще? Мы приглашены на вселенскую выставку, приходим взглянуть на его полотна; так отец выставял свои «пятна» на Крымском валу, так показывал их приятелям, мне... Даже мне. У каждой картины есть автор, картина – автопортрет души того, кто писал ее, того, что гнездится в его голове и рвется наружу, принимая на холстах его облик. И от грехопадения до потопа, в бездне творения нет ни сочувствия, ни милосердия к зрителям. И все те, кто посетил эту выставку, ослепнут, дабы не превзойти.

Итак, сидя на папиной кухне с альбомом, я мог выбрать (тот самый дар, что был предоставлен нам

вместе с жизнью) – свобода выбора, – выбрать, в какую картину попасть, в границах данного каталога. И в этих пределах вся мерзость, жестокость и зверство мира. Ад и рай на земле. Дело рук человеческих, полотна божественной кисти. Дикость происходящего внизу, на земле, в кружочке моей ладони, сменялась безмятежной окраской неба, кружок становился синим, в нем, согласно движению моего кулачка вдоль страницы, как в калейдоскопе, принимались двигаться облачка. Безмятежные облачка.

Рассматривать то, что происходило под ними... в этом было какое-то завораживающее наслаждение. Жуткое волшебство. Смерть я впитывал в себя сладострастно. Мне хотелось участвовать в страшных судилищах, расправах, пытках, и я действительно участвовал, переносился, выпадая из времени, из себя. Я был там.

Ряженные уродцы, жуткие маски, толпы, жаждущие расправы; грузно пляшущие убийцы, арены, участники, лошади, зрители, извивающиеся, подобно табачному дыму, призраки, в глубине расправленного листа... и смерть. Смерть меня привлекала. Был ли это затравленный, залитый кровью бык, сплетенные тела грешников или ясное, выхолаживающее душу впечатление надвигающейся волны, неотвратимости гибели... я один мог спастись. Я моргал. Ресницы касались кожи. Я вздрагивал. Протирал пальцем глаз и смотрел опять.

На коленях, в углу дивана, под пятном «яичницы», мальчик листает альбом. Бережно откладывает один и берет другой. За окнами снег. Все так уютно, так мирно... Почти не слышно, что шепчут губы распятого... никому не понять, что мальчик не слышит отцовского оклика за криком обезумевшей дикой толпы.

Запах глянца не перекрывал для меня запах воображения, исходящий от репродукций. Скорее, сливался с ним. Стрелы, впившиеся в тела, младенцы, раскиданные по земле, черепа под копытами лошадей. Ладони распятого, ниточки крови, склоненная голова. Я был им, принимал на себя его боль, умирал, доводя себя воображением до сладострастного ужаса... и воскресал, перелистывая страницу.

Сурки Гойи, порталы Босха и Брейгеля... Брейгеля! Великого мастера здешнего ужаса, гения, в мертвом холоде, треске крыльев черных ворон охотники на снегу, битва масленицы, триумф... И самая жуткая, нереально реальная, ее я мог рассматривать бесконечно... «Игры детей»... Я поднимался с дивана и шел за лупой. Лупа – тоже окно в реальность. И ничего страшнее по приближению. Ничего обыденней и страшнее. Хотя... что может быть страшного

в играх детей... детки – господние ангелы... Домик, птичья клетка, качельки, вертушки, мыльные пузыри, погремушки и жмурки, детский стульчик, почти что как у меня... чет-нечет, бросание монеток, девочка кричит в отверстие в бочке... Я слышу эхо. Игрушечный магазин... дерганье за волосы, колодец, ловля жуков, чехарда, кувыркание, детская свадьба, ходули, висение вниз головой... все как в школе, и вместе с тем в эти игры играют не дети. Это не дети, они чудовища... кто сидит в синей башне? Господь. Кто владелец горы? Господь. И детишки его кошмаров водят странный безрадостный хоровод вокруг маленького слепого...

«Саломея» Луины, златовласая, напоминавшая маму, ангелоподобная падчерица Князя мира, с головой Иоанна Крестителя над жестяным блюдом, напоминающим одну из наших кухонных мисок, и с тем еще более реальную для меня...

Царь Саул, изгнавший из царства живых всех ведьм и волшебниц и отправившийся к одной из них накануне сражения с тем, чтобы, вызвав призрак своего предшественника, узнать, каков будет исход...

Боже мой! Сколько вихрей приносила с собой эта картина. Гладкий глянec страницы, погруженной во мрак, тьма, из которой появляется вызванный из царства вечности дух. Мертвый в белом саване страшен. Все здесь смерть. Жуткая колдунья со спутанной шерстью вместо волос, порывы черного ветра рисуют вызванных призраков, подобных ночным теням, едва различимых, но различимых для тех, кто хочет, жаждет их различить, всадник – застывший в диком хохоте жуткий скелет. Тень обретает свет. Белый саван, падший на колени живой человек... смерть неминуема.

Но самая страшная и манящая – «Жертвоприношение Исаака». Голова сына на жертвеннике, шея вывернута, руки заломлены, волосы спутаны, изо рта вырывается крик, неслышимый крик, проглоченный вечностью, подобно крику во сне... Но мне ясно, о чем он просит, и губы мои повторяют за ним молитву к тому, кто сошел с ума, к тому, кто не знает жалости. К папе.

Я смотрю, смотрю... и мне хочется, чтобы скорей прекратился ужас этой картины... Но ужас все длится. Отец все не убивает сына, ни вчера, ни сегодня, ни завтра он его не убьет, ничего не изменится... никогда. Ожидание будет длиться и длиться, и белый город в туманной дали принадлежит незыблемой вечности, и невозмутимое небо над ними.

Смерть привлекала, манила меня, подобно тому, как зрелище автомобильной аварии привлекает

живых. Одновременно с сознанием сопричастности было ощущение безнаказанной отделенности. В любой момент я мог закрыть альбом, прекратив ужасное действие. Я тогда не знал, что оно оставалось со мной навсегда. Страстная жалость, упоение болью и возможность избавления от нее.

Может быть, мне так нравилось рассматривать ужасы отцовских пинакоток именно из-за этой возможности избавления. Но, если честно, скорее, ненаказуемой сопричастности.

Я еще не скоро пойму, что от ужаса реальности, подобно перелистыванию альбомных страниц, извбавляет смерть, поняв ее сменой действия. И неважно, что принесет она, она – принесет, потому что если там ничего, это было бы милосердие, совсем не свойственное Творцу.

Милосердие в этом случае означало бы предел его кисти.



Вот увлекательный рассказ, в котором герой (неясно кто) встречается (непонятно с кем) и они едут (куда-то туда), а потом почему-то что-то случается, и все портится. Так жалко! Что это было? Я не знаю. Понять в точности ничего нельзя: все как-то сдвигается и ускользает. Происходит невесть что, и, главное, происходит ли вообще? Рассказ в хорошей абсурдистской традиции – Льюис Кэрролл? Хармс? Со смешными литературными реминисценциями, с легкой, впроброс цитатой из Гумилева (найди ее, читатель!). Тот волшебный случай, когда белиберда становится литературой, околесица поднимается до уровня высокой художественности, и нам смешно, и странно, и сердце щемит: все как мы любим.

Татьяна Толстая

ОККАМА ПОРЕЗАЛСЯ БРИТВОЙ



ТАТЬЯНА ЗАЛУНИНА
Родилась в Невинномысске,
живет в Москве.

1.

Я купил билет спонтанно. В пятницу вечером все было как обычно – усталость после рабочей недели, облегчение от того, что она наконец закончилась, предвкушение выходных, которые я хотел провести за книгой или в интернете. Нет, это не давало мне отдыха, просто это было время, когда я делал не то, что должен, а то, что хотел, точнее – не делал ничего. В последние годы такое положение вещей меня вполне устраивало. Ну, то есть, я говорил себе, что устраивало. На самом деле сомнения – мысли о бездарно проживаемой жизни – давно подтачивали мою душу. Пряча голову в песок, я, однако, слышал, как тикают часы уходящего времени.

В субботу утром я решил, что неплохо было бы провести выходные за городом. Но здравая мысль – сварить кофе, лениво погуглить маршруты и выбрать оптимальный – меня пугала. Стало понятно, что на этом все и закончится.

По дороге на вокзал я несколько раз одергивал себя от попытки хотя бы просмотреть карту. Вот так и вышло, что «один билет до N-ска, пожалуйста» я купил совершенно случайно.

Он сидел напротив – этот странный тип. Попытка завязать легкий и приятный разговор провалилась, когда на мой доброжелательный во всех отношениях

«добрый день» он демонстративно засопел, тяжело вздохнул и буркнул «только не это».

Я молча уставился в окно. Небо было серое, накрапывал скупой противный дождь, осень снова навалилась на меня неизбежной тоской, унынием и скукой. Настроение было так себе. Я попробовал читать, но понял, что вовсе усну.

Украдкой посматривая на моего несостоявшегося собеседника, я думал: а что если поиграть с ним в ку-ку? Ну, как с детьми: закрыться книгой, резко выглянуть из-за нее и заорать «ку-ку!». Он решит, что я псих, и попросит проводника пересадить его в другое купе. Это в лучшем случае. В худшем – он даст мне в нос. Нос было жалко – красивый нос, околоримский, гордость моя и радость. Единственный достойный предмет в моей внешности. Когда подростки-одноклассники страдали из-за крупных и расплывчатых носов, я знал, что мой-то нос не подведет. И он был прекрасен. И есть. И я не позволю какому-то грубияну сломать мое сокровище. Я злобно посмотрел на соседа и сказал:

– Только попробуй разбить мне нос! Увидишь, что будет. Пожалеешь. Тогда живые позавидуют мертвым!

Сосед изумленно уставился на меня, а я злобно усмехнулся: точно решит, что я псих, сейчас побежит жаловаться проводнику, а потом его

пересадят. Хо! Не ожидал такой прыти от офисного скромняги?! Ну я ему еще покажу, я им всем покажу! Я чувствовал, как злоба закипает и подступает к горлу.

– С вами все в порядке? – Он смотрел участливо и заинтересованно.

Внезапно мне захотелось, чтобы он остался. У него был благородный нос и вполне приличный лоб. Не такой высокий, как мой, но тоже ничего.

– Вам там не понравится, – сказал я.

– Где?

– В соседнем купе. С этим мужиком я ездил в прошлом году, он жуткий зануда. А другие купе переполнены.

Я, конечно, врал и про мужика, и про переполненные купе. Но я хотел, чтобы он остался.

– Ты – псих?

Секунд тридцать я раздумывал над тем, чтобы смертельно обидеться, но потом решил, что еще успею. Сейчас же мне хотелось поговорить, и я решил признаться.

– Ну, честно говоря, я с ним не знаком. Честно говоря, даже не знаю, кто едет в соседних купе. Но ты оставайся.

Он смотрел задумчиво, подперев щеку кулаком.

– Оккама. – Он протянул руку. – Меня зовут Оккама. Я лесник.

– Врешь же, да? Не видел ни одного лесника с таким лбом.

– А ты их вообще видел? Хоть одного?

Я задумался: лесников я не встречал, но был уверен, что человек с таким лбом, в таких ботинках и с таким именем просто не может быть лесником. В моей картине мира лесники были косматыми детьми, с большими ручищами и звали их... Как их звали, какие у них были лбы и ботинки, я не придумал. Но точно не такие, как у моего соседа.

– Ну врешь же?

– Конечно, вру! А ты-то сам кто?

Так мы и подружились. Офисный псих и лесник в бродях.

2.

Я устало плелся следом, то и дело чертыхаясь. Спина у Оккамы была узкая, что немного сглаживало противоречия, но шагал он бодро, да еще и насвистывал. Небо было серое, воздух холодный, настроение зябкое. Только придурок станет насвистывать в такую погоду. На это нельзя было не злиться, и я злился. Может, на веселого придурка Оккаму, может, на себя.

– Как думаешь, этот подойдет? – Он гордо пнул ногой ствол дуба, и меня окатило холодной водой с веток. – У нас будет свой тотем!

– Почему дуб? Не хочу ассоциироваться с дубом. Это как-то не благородно. Вот если бы с орлом, на худой конец, с медведем.

– Тогда надо было идти в зоопарк, а не в лес. Мог бы сразу сказать.

– Слушай, почему нужно только через прямую визуализацию? Где ты вообще набрался этой чуши? Ты думаешь, живой медведь чем-то отличается? Давай просто решим, что наш тотем – волк, и дело с концом.

Так мы и решили. Я стал серым, он стал белым. Два веселых придурка.

3.

Веселых – это я просто так сказал. Ну, типа, пошутить хотел. На самом деле поводов для радости было мало. Рабочий день тянулся бесконечно. Я то и дело посматривал на часы и ждал, когда стрелка доползет до шести. Ближе к четырем мое настроение улучшилось: осталась всего пара часов, и начнется совсем другая жизнь.

Оккама стоял под дождем. Нет бы спрятаться под козырек подъезда, так этот тип напялил шляпу и озирался по сторонам, как вылупившийся птенец. Я еще подумал уйти через заднюю дверь и дать деру.

– Наконец-то! – Его глаза светились подозрительной для такой погоды радостью. – У меня для тебя хорошая новость: я купил коня! Практически задаром! Пришлось, правда, пообещать, что дам ему приличное имя. У тебя нет, случайно, приличных имен на примете?

– Зачем нам конь? – Я обрадовался, что не сбежал, вечер обещал не быть томным.

– У каждого благородного волка должен быть собственный конь и оруженосец. Ты кем хочешь быть? – Только не конем. А его назови Росинантом.

– У, скучно, – завыл Оккама. – Я животных, понимаешь, люблю, а с таким имечком впору повеситься. Я назову его Олег. Вещий Олег. И не спорь.

От остановки отделилась бледная тень в крапчатой кепке. Кепка меня очень заинтересовала. Давно подумывал о такой. Интересно, где он ее взял?

– Я согласен, – сказала тень и протянула мне руку, – Олег, Вещий Олег.

Так нас стало трое. Веселый белый волк, унылый псих-оруженосец и конь-шизофреник.

КРАСНАЯ ЗОНА

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ



ГЕОРГИЙ ПРЯХИН

Писатель, журналист и издатель. Общественный деятель, академик Академии российской словесности. Автор прозаических книг, в том числе переведенных за рубежом. Главный редактор издательства «Художественная литература».

Она даже не появилась – она проявилась в темном дверном проеме, как проявляется негатив.

Нет. На подлинных старинных, уже черенных временем иконных досках – мне нравится у Даля: «из одного дерева икона и лопата», и я бы добавил: и старая, натруженная человеческая ладонь, – изображения кажутся не нанесенными, извне, даже самой искуснейшей, мастерской рукой, а проступившими изнутри. Как на бязевой нательной сорочке молодой матери проступает солнечное молозивное пятно.

Настоящие иконы почему-то всегда выпуклы, не отвесны, как будто их делают из мореных плашек, первоначально предназначенных даже не для лопат, а для пузатых деревянных кадучек.

Увидел ее краем глаза. Знаю точно, что дверь в мою комнату была закрыта. В комнате темно, насколько темно может быть ночами в квартирах современных бессонных, в электрических сполохах, многомиллионных роевых городов.

Я не в бреду – это тоже знаю точно, поскольку даже в самые кризисные ночи моей болезни температура у меня не поднималась выше 38,5. Я один, ухаживающую за мной младшую дочь сморило в соседней спальне. Я, повторяю, в здравом, пока еще в здравом, рассудке. Дверь закрыта – раньше они у нас были светлые, но сейчас, после ремонта, жена поменяла все их, в том числе и колер, на темный,

псевдомореный, если и не церковный, то – монастырский, мужского монастыря. Монастырь по виду мужской, хотя состав его преимущественно женский – из мужчин я тут чаще один.

И вот перед этой закрытой, тяжелой дверью – или прямо на этой двери? – проявилась, проступила, молозивом, моя мать. Вошла. Пропиталась.

Которой нет на белом свете уже ровно пятьдесят девять лет.

И которая давным-давно уже даже не снилась мне, разве что изредка-изредка отдельными родными, вдруг возникающими в памяти чертами. Во сне, а чаще наяву – в моих промелькнувших вдруг, узнаваемых чертах дочерей, из которых больше всех похожа на мою мать, на свою бабу, опять же младшая.

А тут, в третьем часу ночи, явилась. Вся, целокупно, в дверном проеме, как в горсти.

В Москве – дальше своего райцентра при жизни не отлучавшаяся, не то что с кладбища, пропеченного нашими степными суховеями не на два положенных человечеству метра, а до самого пупка, до преисподней, откуда даже беспомощно искрящим слюдяными крылышками кузнечикам взлететь невмочь: только неистово молятся, вместе с зелеными, марсианскими богомолами, и в бурьянах, и в полыни.

Резкости, конечно, нету, да православные иконы вообще как сквозь слезы писаны, но явственно узнаваема – до молотка в висках.

Ноги дрожат и разъезжаются, как восковые еще копыта у новорожденного теленка. И еще страшнее, обморочнее, чем слабость, – апатия. Всепоглощающая. С вылупленными бессонными глазами неотвратимо погружаешься, уходишь в нее, как под мертвую воду. Тонешь, и нет никакого желанья, позыва, животного, схватиться, хотя бы за воздух, или позвать кого-то на помощь.

Смуглое, опаленное солнцем курносое русское лицо – все Богородицы на Руси темнолики не в силу своей природной национальной принадлежности, а потому как просмолены до самых недр горьким медом и зноем обращенных к ним материнских русских молитв. Белый-белый миткалевый платочек домиком, по случаю надетый выходной полушерстяной жакет в талию и, тоже выходная, плотная, опрятная юбка в частую рябенькую клеточку...

Господи, я до рези в виске узнал, вспомнил этот ее наряд: ничего праздничнее, выходнее у нее отродясь не было.

Принарядилась – как на чужую свадьбу: своей у нее тоже никогда не было.

Матери не стало, когда мне было четырнадцать лет, но Бог ты мой, я, кажется, видел эти ее одежды, покрова ее не только в детстве-отрочестве, но и значительно позже.

Разношенные, как с чужого плеча – при невеликом росточке ее – неутомимые руки на сей раз по-настоящему свободны.

Смутно?

108

Отрешенно. Строго?

Скорее, все-таки строго взглянула она на меня. Как же непоправимо виноватого.

Мне тогда было четырнадцать, а ей-то, ей – всего сорок пять!

И кто же тогда виноватее перед нами обоими: жизнь или же смерть?

Миг, всего миг, и по черноиконной доске прошел безмолвный скипидарный смыв.

Я крепко, как в детстве, вздрогнул и понял: надо соглашаться на больницу: мать велит.

* * *

Ноги дрожат и разъезжаются, как восковые еще копыта у новорожденного теленка. И еще страшнее, обморочнее, чем слабость, – апатия. Всепоглощающая. С вылупленными бессонными глазами неотвратимо погружаешься, уходишь в нее, как под мертвую воду. Тонешь, и нет никакого желанья, позыва, животного, схватиться, хотя бы за воздух, или позвать кого-то на помощь.

Нет, мать, пожалуй, и звал – неслышным и действительно виноватым, даже не младенческим, а уже эмбриональным дискантом.

Так я никогда не болел.

Даже когда поймал сальмонеллу.

Даже когда, тощим солдатом, заполучил в поезде воспаление легких.

И даже когда в первом классе, действительно почти младенцем, попал под районный «козлик» и обрел корявую пробоину в голове, что – теперь уже безволосой нашлепкою, округлой шлычкою – нащупывается до сих пор.

Собственно, это и есть три случая в моей жизни, когда я оказывался в лазарете или в больнице.

Сейчас совершенно свободно и даже почти добровольно мог очутиться – очнуться? – и еще дальше, глубже: с каждым днем, вернее, с каждой ночью все хуже и хуже.

А я, дурень, все тянул и тянул.

Тонул.

И тут явилась она. Мать.

И строго, внятно так посмотрела. С двери, как с иконы.

И я, подчиняясь, задыхаясь, решил, решил все же – выныривать.

Медленно-медленно: почти что утопленник широко разинутыми стекленеющими глазами.

Мать! – она и к пробитой моей голове тогда, тоже в белом платочке, примчалась, в райцентр, и жадно приникла к ней, вливая, через заляпаные красным

фотосессия, хлопотами на кухне. А вот почему нету меня, я знаю, помню точно.

Потому что мне деревенский, только что демобилизованный из армии парняга-шофер, возивший в сельсовет жениха и невесту, разрешил посидеть одному в кабинке его грузовика. Какое там фотографирование! – мне так редко выпадало счастье крутить, хотя бы оставаясь на месте, вороненую, лоснящуюся баранку, дотягиваться сандалией до педалей и вдыхать волшебную вонь тавота бензина и нагретого чужими задницами кожаменителя...

Не могу оторваться от фотки. Подношу к самым глазам – не только в голове, но даже в них, в глазах моих измученных, мал-мал прояснилось. Боже мой, моя молодая еще, скромно притулившись к писаной красавице Лиде, своей двоюродной сестре, родной дочери материной тетки Меланьи, мама в том самом платочке домиком, в том самом «выходном» полшерстяном жакете в талию и в той самой плотной красиво удлиненной клетчатой юбке, в которых и явилась она строго только что в моем дверном проеме!

Помню ли я все эти пятнадцать лет досконально эту затерявшуюся карточку?

Наверное.

Свадьбу же помню в подробностях.

Пятьдесят второй. Мне пять лет. У нас с мамой впереди девять совместных лет, почти вечность.

Сейчас мне семьдесят три. Похоже, это не я ее вспомнил. Это она затревожилась.

...И только запах духов «Белая акация» – вот чудачка, у нас этой «Белой акации» пруд пруди, возле каждого тына, стоило ли тратиться? – невестино послевкусие вкупе с нагретым и основательно-таки, под спаренным весом молодых, да еще с довеском, с припеком, промятой сидушкой смешивался с волшебным техническим ароматом ленд-лизингского «студебекера». Да, молодых наших, припоминаю, прокатили даже не на «газончике», а аж на единственном в Николе американском «студебекере».

Запахи – звуки же я в те минуты изо всей мочи, на всю округу исторгал на всю округу сам: клаксон ведь был в полном моем распоряжении. Как салют новобранцам.

Да, сад еще лебяжьим пухом, из первобранной, жарко истерзанной перины курился надо всеми нами, щекотно проникая и ко мне в кабину.

...Скорая на рысях покатила меня со двора. Тридцать лет назад, переезжая в этот дом, я оказался здесь, пожалуй, самым молодым из «ответственных» квартиросъемщиков. Сейчас же, наверное, я самый

старый: тяжкая, сорная волна времени и перемен пронеслась сквозь кирпичные соты дома и унесла с собою, зачастую на таких же дрогах скорых, всех моих предшественников: «ответственные» сейчас совсем другие, молодые, пробивные, не ведавшие петушиного клюва в заднице. Да и зовутся они теперь уже не «ответственными», а совершенно несоветским словом «хозяева».

И самой жизни, в отличие от меня, тоже.

Грустно смотрел за окошко скорой: вернусь ли сюда и я?

В приемном покое меня действительно уже ждали, как ждут на кухне хозяйки подлежащую разделке дичь.

В самом деле разделали, раздели, сунули в компьютерный томограф, как в тренировочный саркофаг, изъяли, сколько смогли, крови, измерили температуру и давление. На давлении споткнулись, заговорщицки переглянулись, все, как юная Валентина Терешкова, с которой я тоже в свое время летал, правда, не в космическом аппарате, а просто в первом классе советского Ил-62, в прозрачных стеклопластиковых скафандрах и в белоснежных, невестинных комбинезонах – меня лично в такой облачали когда-то тоже, на роковом четвертом энергоблоке в Чернобыле.

Глазами спросил и мне глазами же – почему-то почти все здесь отчаянно, весенне-голубоглазы – молодец В. И., умеет подбирать кадры! – ответили, указали на тонометр: 180/110!

Дали таблетку.

– И можно домой? – не без тайной надежды поштил-спросил, теперь уже голосом, я.

– Что вы, у вас двустороннее воспаление легких.

– А ковид? – вполголоса решился я на запретное слово.

– У нас теперь любая пневмония идет по ковидному признаку, – сухо ответили мне.

И как я ни противился, ни убеждал, что могу и на своих двоих, мне велели прямо из саркофага переместиться в кресло-каталку, по существу в инвалидную коляску, и та же космическая Офелия – а может, сама Ариадна? – как прекрасная, царских кровей, времен Первой мировой сестра милосердия повезла, повлекла меня, хворобного и в меру смущенного, по длинным, сталкеровским коридорам, по лифтам... Разместили в крошечной, метров восьми, но отдельной палате, в стерилизованном комодике, почти кувезе. Вновь померили давление и вновь покачали головами:

– Вы что, так испугались? Не бойтесь, выживаемость у нас высокая...

Сигнальный прожектор далекого высотного подъемного крана, тоже как фельдшер-стажер, пытался обследовать и комнатуху, и меня лично, прямо до дна.

Да я, в общем-то, и не боялся. Шут с нею, со здешней выживаемостью – теперь, после материнского сурового внушения, я потихонечку, исподволь стал уверовать просто в собственную живучесть. Мы же никольские, будем считать: не первая зима на волка.

И, надеюсь, черт возьми, не последняя.

* * *

Первый день, первая ночь в стародавешком глазированном комодике с окном на больничный двор, по которому задумчиво, как сталкерши, в своих пугающих антирадиационных комбинезонах и в скафандрах бродят все те же сестрички, либо осторожно неся, как младенцев-сосунков, на груди, какие-то колбы-реторты, либо толкая перед собой такие же, на каком пребывал и я, да и с таким же сомлевающим грузом, кресла, а то и просто каталки, уже наглухо зашторенные простыней. Сигнальный прожектор далекого высотного подъемного крана, тоже как фельдшер-стажер, пытался обследовать и комнатуху, и меня лично, прямо до дна. Да я и не возражал: у меня, как и у него, тоже бессонница – и от лекарств, в которых, видимо, прорва мочегонных, и от раздумий.

Где я мог поймать?

Или – где меня поймало?

Вспоминаются две картины.

Одна весьма приятная. Некий московский театр благосклонно принял «к читке» мою пьесу – для чтения – «Снятие с поезда». О Михаиле Булгакове, который в 1939 году, стремясь поправить свое политическое реноме, а заодно и материальное положение, написал пьесу о Сталине, о его молодых революционных годах (в ней он, Сталин, проходит под знаковым именем Пастыр). И по командиров-

ке воодушевленного репертуарной политической находкой МХАТа – приближался шестидесятилетний сталинский юбилей – с группой его, МХАТа, сотрудников и под водительством собственной, булгаковской пробивной жены Елены Сергеевны ринулся в Батум. Проработать детали и антураж постановки. Но его телеграммой, зачитанной перепуганной проводницей, уже в Серпухове сняли с поезда.

Проводница протискивалась по международному вагону и голосила:

– Булгахтеру! Кто тут булгахтер? Булгахтеру телеграмма...

Булгаков, побледнев, высунулся, оторвавшись от застолья, в дверь:

– Я – Булгаков. Это наверняка мне...

Так и сняли: мхатовцы выскочили, слиняли сразу, прямо в Серпухове, а Михаил Афанасьевич с Еленой Сергеевной из упрямства и вредности дотянули аж до Тулы.

Дальше тянуть было опасно: вторая телеграмма ввалилась бы уже не в железнодорожной униформе, а в сапогах и в синих погонах.

...И меня позвали в театр, на небольшой, камерный прогон чужой пьесы, почти на междубойчик. После удачного прогона – театральное «чаепитие», на которых, как я понимаю, «чай» не бутафорский, а вполне себе сорокаградусный. Директриса театра – из тех, кто быка на ходу остановит, причем одними только афишными, широкоформатными, явно из актрис, глазами, – знакомясь, озорно обронила:

– Ну что, как там у Евгения Леонова: «по пятьдесят граммов – и в школу не пойдем»?

Ну, кто же на моем месте посмел бы отказаться – тут и останавливать не надо, тем более что я-то, в отличие от Евгения Леонова, в вечерней школе рабочей молодежи действительно учился. И молодежь вокруг меня там была уже в годах, куда более зрелая во всех вопросах, чем я, – кроме, собственно, учебных, тут я, вчерашний обыкновенный, невечерний школьник, им всем помогал. А среди них попадались и такие, как мой сосед по парте с нежной фамилией Плаксин, но уже, тем не менее, с лагерным, непионерским, опытом. Так вот у нас, и у меня с их опекунской подачи, бытовало другое правило:

– По пятьдесят – и в школу!

С математикой, кроме зарплатной, у них тоже туговато: бутылка на троих – какие ж тут пятьдесят? Как минимум – по сто пятьдесят!..

Да, вспомнил: в воинском лазарете, где я был единственным «серьезным» пациентом, ко мне по

со мною в армии «западенцем» в таких пересылали с родины свекольную самогонку, и мне перепало, угощали ночами в казарме.

Вспомнилось, что мой товарищ Валера Зайцев, лет на двадцать моложе меня – я еще крепко дружил с его покойным отцом и, увы, хоронил его, – могучий, грудь колесом, кровь с молоком переболел «короной», перемучился и после, недавно, тоже решил пожертвовать свои благоприобретенные (благо?) антитела.

Кровь с молоком... Хорошо бы Валериной кровушки богатырской перепало...

Плазма явилась как будто бы и не из «Склифа» вовсе, а прямиком из Алмазного фонда. С торжественной высокородной свитой: и медсестра, и лечащая, и заведующая, и даже профессор, тоже профессорша – тоже такая же молоденькая, тоненькая, ясноглазая, что даже на пионервожатую среди своих подчиненных «старшекласниц» не смотрится, не «выглядает», как говорят в моей незабвенной Николе. Под ложечкой всерьез зашвербило при этом серьезном явлении долгожданного «Грааля» и его окружения. Что перельется, с какими там наследственными и прочими отягощениями? Какой национальности? Да Бог с нею, с национальностью – у меня их и сейчас далеко не одна. Благодарение общей цивилизационной отсталости: хоть за пол можно пока быть спокойным, его вроде не так, не вливанием, а вполне себе скальпелем меняют.

Профессор внимательно-внимательно вгляделась в меня и заставила снова померить давление.

195...

– Да что же вы так разволновались? – зашебетали хором.

Да я вроде и не волновался.

Во всяком случае, за пол.

Дали крошечную, яркую, уже кровавого цвета таблетку, велели под язык.

Профессорша увидела на моем столике рядом с Мандельштамом Довлатова:

– Правильно. Духоподъемный товарищ...

Ну да. О моем любимом Мандельштаме такого не скажешь.

160.

– Можно приступать, – тихо скомандовала пионервожатая.

Они бдительно пробыли возле меня все эти час-полтора, пока в меня методично капала чужая жизнь. И все наперебой спрашивали: не гудит ли, не ломит ли у меня в висках, не раскалывается ли голова, не чувствую ли удушья? И заглядывали в лицо:

не пунцовой ли? Нет аллергии, отторжения? Дурных нема – чтоб отторгаться, отказываться от жизни, пускай хоть и наполовину чужой...

Эх, узнать бы каким-то чудом, кому же я буду обязан? Надеюсь, еще в этой жизни.

Все вроде бы прошло благополучно. Не покраснел, голова в отпущенную меру соображает. Никаких судорог, отеков Квинке...

Начальство, облегченно вздохнув и дружно пожелав мне спокойной ночи – в четвертом часу утра, выпорхнуло за дверь, видимо, в свою «спальню». Осталась одна уж совсем молоденькая сестричка, похоже, узбечка, угадывал я, недоумленный и наивостренный в вопросах интернационализма только что влитым. Она завершила дело с драгоценной капельницей и тоже тихо попрощалась.

Я был рад: мне надо было срочно лететь, насколько мог я тогда летать, нелетающий, нелетный, в туалет: мочевой пузырь требовал, очень настоятельно вопил и пищал...

* * *

Влили. Это вдобавок к тем двум-трем «обыкновенным» капельницам, которые прописаны мне каждый день. Сам к себе прислушиваюсь, так и не сомкнувши глаз. Из берегов вроде не выхожу, не разливаюсь.

Встал в половине шестого. Для себя решил, что буду подниматься здесь по утрам именно в это время, чтоб никого не булгачить, потихоньку побриться, принять душ. Бриться постановил каждый день, как-никак почти в женском медицинском царстве.

Какого же было мое удивление, когда именно в половине шестого ко мне вплыла медсестра с лекарствами и прочими прибабасами. Оказывается, я тут никого не удивлял – рабочий день здесь начинается спозаранок: казарменное положение, от «спальни» до работы несколько шагов. У меня у самого так обстояло, когда работал собственным корреспондентом «Комсомолки» по Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии. Корпункт «дислоцировался» прямо в квартире, спустил босые ноги с кровати – и ты уже на службе.

...Позвонила одна из дочерей, Полина:

– Папа, Роспотребнадзор признал твой тест отрицательным...

– ? – опешил я.

– Да, – продолжила дочь. – Частная клиника, приезжавшая к тебе домой и бравшая анализ, посчитала его сомнительным, послала в Роспо-

требнадзор. А оттуда сегодня пришел вердикт: отрицательно...

Радоваться? Давать трепака? Так уже влило. И не только плазма шестерых моих безвестных доноров, но и еще Бог знает сколько всего разного.

Картина вторая: под холодным ливнем таскал на даче ведрами воду из железных бочек под крышей, под водостоками. Промок до нитки, а переодеться было лень. Продрог, потом и в доме долго не мог согреться. Там и подхватил? Правда, не ковид, к счастью, а воспаление легких?

Хрен редьки не слаще.

...Оксана отнеслась к моему нетерпеливому сообщению снисходительно:

– У нас своя, собственная служба. А вообще, мы больше ориентируемся на кровь и на компьютерную томографию, а в легких у вас все-таки два очага. Так что делайте выводы сами...

Ну да, бочек было даже не две, а четыре.

Я и сделал выводы: не радоваться, не плясать. Пытаюсь.

...Что ж, стал вставать не в полшестого, а в пять. Не без некоторого тщеславия заметил, что сестрицам, да и врачам, импонировало, что к их приходу я в меру сил если и не огурец, но уже обихожен.

Пастернак, даже лежа в постели, будучи к ней, уже как трофей самой смерти, приторочен, брился до последнего.

«Собственная служба», к слову, за неделю, что пролежал в больнице, еще трижды брала у меня мазки и из гортани, и из носа – процедура не из приятных, – и все анализы также оказались отрицательными.

Так было, черт подери, или не было?

Пока лежал я здесь, в «красной зоне», «на свободе» из жизни ушли еще двое моих друзей. Журналисты. Стас Сергеев и Женя Панов. Женя в последние годы все заботливо лечил, возил в санатории свою жену, беспокоился о ней, а надо же – судьба смухлевала, ушел вне очереди...

Еще одна нервная бессонная ночь накануне контрольной КТ.

Коротая время, перечитывал «Путешествие в Армению» Мандельштама. Одним глазом в книгу, другим – в айпад: какие там новости с Кавказа?

Сам я тоже родом оттуда, только с Северного, из Буденновска, он же в прошлом Святой Крест, Карабагла, древний Маджар. Городок, который когда-то, еще в конце восемнадцатого века, впервые приютил очередных армянских беженцев, да привечает их и сейчас: армян и нынче здесь почти столько же, сколько и русских.

С первых часов Спитакского страшного землетрясения, вместе с Николаем Ивановичем Рыжковым, я приземлился в эпицентре армянской трагедии в декабре 1988 года...

В Баку у меня тоже друзья. Самый близкий, Ариф Мансуров, строитель милостью божьей, давно лежит уже на кладбище. В январе, теперь уже девяностого, в ночь ввода войск в Баку, я оставался одним из «ответственных» дежурных ЦК партии. Переступив все мыслимые и немыслимые инструкции, позвонил туда, Ариффу, и сказал:

– В эту ночь не выходи на улицу. И никого из дома не выпускай!

Надо было знать кипучего Арифа – так он меня и послушался!

Выскочил, митинговал, безумствовал, боюсь, правда, что пламя из уст его было все же послабее пламени, что всегда жило, ворочалось в его огромных, с нефтяным смурным отливом, южных глазах. Нет, его не тронули, в него не стреляли – он умер вскоре сам.

От разрыва сердца.

...Новости в айпаде одна горше другой. Война. Так, чего доброго, и вновь до моего многострадального Буденновска дотянется. Новые беженцы вот-вот окажутся и в Москве.

Прекрасны, с тяжелым, подземным, магматическим Арифовым огнем, мандельштамовские экзерсисы об Армении и армянах: судьба подарила гению это счастливое, солнечное путешествие перед кандалным вояжем на Дальний, теперь уже Дальний, а не Ближний, Восток, к братской безродной могиле.

«...В библиотеку вошел пожилой человек с деспотическими манерами и величавой осанкой.

Его Прометеева голова излучала дымчатый, пепельно-синий свет, как сильнейшая кварцевая лампа... Черно-голубые, взбитые с вихвалю пряди его жестких волос имели в себе нечто от корешковой силы заколдованного птичьего пера.

Широкий рот чернокнижника не улыбался, твердо помня, что слово – это работа. Голова т. Ованесьяна обладала способностью удаляться от собеседника, как горная вершина, случайно напоминающая форму головы. Но синяя кварцевая смурь ее очей стоила улыбки...

...Мне удалось наблюдать служение облаков Арапату.

Тут было нисходящее и восходящее движение сливок, когда они вваливаются в стакан румяного чая и расходятся в нем курчавыми клубнями.

А впрочем, небо земли араратской доставляет мало радости Саваофу: оно выдуманно синицей в духе древнейшего атеизма...»

Да он, Осип Эмильевич Мандельштам, собственно, тоже особо не разделяет, во всяком случае в силе слова и красок, армян и азербайджанцев, христиан и мусульман, у которых даже кухня, по свидетельству этого, похоже, вечно голодного гурмана так схожа. Не разделяет:

«...Персидская миниатюра косит испуганным грациозным миндалевидным оком.

Безгрешная и чувственная, она лучше всего убеждает в том, что жизнь – драгоценный неотъемлемый дар.

Люблю мусульманские эмали и камеи!

Продолжая мое сравнение, я скажу: горячее конское око красавицы косо и милостиво нисходит к читателю. Обгорелые кочерыжки рукописей похрустывают, как сухумский табак.

Сколько крови пролито из-за этих недотрог! Как наслаждались ими завоеватели!..»

Да, прав Осип Эмильевич.

Жизнь – драгоценный неотъемлемый дар... Который так неистово в эти дни отнимают друг у друга два извечных соседа-народа... В самом начале этой войны оттуда, с Кавказа, мне пришло предложение написать свое мнение о ней, о случившемся. Написал. Отослал. Но ни та сторона, ни другая не напечатали.

Не устроило.

...На контрольную КТ нас вызвали двоих, меня и еще одного пациента, тоже в годах. Его повезли в кресле-каталке, в каковом несколько дней назад рассекал и я, я же от кресла отказался, и на сей раз мне позволили, доверили топтать на свои двоих.

Опять саркофаг. Опять репетиция. Того и гляди, прозвучит обратный отсчет: «10, 9... 1... 0... Пуск!» Отлет.

Нет. Вылет, похоже, на сей раз откладывается. Опять сижу над Осипом Эмильевичем, хотя глаза уже смотрят куда-то и сквозь страницы, даже сквозь них высматривают здесь же, в сдвоенном, третьем-четвертом томе нежно запрятанную, как тоже заветное, золотое, тоже черно-белое мандельштамовское слово, фотокарточку. Платочек домиком и веточка, гроздь цветущей майской яблони в петлице выходного жакетика.

И тут, тоже как из книги, из двери появляется, выскальзывает – или вскальзывает? – синичка. Заведующая. Вскокаиваю, потому что даже через скафандр в ясных-ясных угадываю: вылет действительно откладывается!

– Выбирайте: могу выписать завтра, в субботу, а могу в понедельник.

Конечно завтра, а еще лучше бы вообще – сегодня, сию минуту.

– Я поняла, до понедельника ждать не хотите.

Согласно и яростно киваю головой.

– Благодарите свой организм. Он очень хорошо откликнулся на лечение. На наше лечение, – все-таки сделала акцент на местоимении. – Организм у вас еще справный...

Так и сказала: не исправный, а почти по-нашенски, по-никольски: с п р а в н ы й.

В этот момент и выскользнула, тоже как выпорхнула, легонькая, с почти истлевшими от времени полупрозрачными крылышками моя заветная карточка. Охранная грамотка: белый крестьянский платочек, жакет и новая, едва ли не в первый раз надеванная клетчатая, удлиненная, как сказали бы сейчас мои дочери, «карандашом» юбка.

Теперь я ее уже не потеряю.

Никогда.

Впрочем, пускай так и живет себе в Мандельштаме. Это и тоже вполне достойная, стихийная проза. Живет письмецом, паролем. До поры, до времени.

18 октября – 9 ноября 2020 года



СВЕТ И ТЕНИ



ЕНАТЕРИНА БЕЛОУСОВА
Родилась в 1992 году.
Нандидат филологических
наун (НИУ ВШЭ), препода-
ватель Шнолы дизайна НИУ
ВШЭ, основатель издатель-
ского проента «Тетрадь

в линейку». Участник сове-
щаний молодых писателей
Москвы и Форума молодых
писателей России и стран
СНГ. Один из авторов ноллен-
тивного романа «Вначале
будет тьма».

Женя никак не могла привыкнуть, что стуки, скрип, тени так быстро растут, так быстро обживают дом. Они обступали ее острова – рабочий и кухонный стол, диван, кровать. Стоило ей уйти, как неуют ложился на скатерть и плед, на синий ковер, на стены. Она храбрилась, громко хлопала дверь, включала свет.

Денежная беспомощность, торопливая злость на сочувственные слова, произнесенные некстати, не так. Первое время чувства доходили до Жени через заглушку, но все равно тревожили, теребили. Затем и это пропало. На новой работе знали двое – подруга, которая помогла устроиться, и Авросин.

– За сколько снимаешь?

Спросил, вешая мокрое пальто в прихожей. В руках держал зонт и еще не решил, можно ли раскрыть его на паркетном полу.

– Можно?

– Да, конечно. Не снимаю. Наследство.

Авросин присвистнул. Хотел пошутить, но, глядя на Женю, в которой сломалось и не могло связаться обратно обычное приветливое выражение, осекся.

Женя коротко объяснилась и пошла на кухню, найти штопор.

Просторная квартира была куплена родителями по ипотеке. Жене осталось доплатить миллион. Палатку родителей, разбитую по недосмотру инструктора в опасном месте, накрыло лавиной в прошлом году.

Она не была уверена, какие бокалы подойдут для его вина.

– У тебя красное или белое?

– Красное.

Достала новые. Авросин поставил бутылку на кухонный стол. В носу защекотало несерьезным, чем-то вроде засахаренной мяты или зефира. Слышала этот запах давно, при первой встрече, у лифта. Потом он пропал или она перестала замечать?

«Пустая коробка из-под сладостей», – Женя вспомнила, как сегодня в обеденный перерыв девочки пробовали конфетное ассорти, им подаренное, и спорили, кому достанется вишневая. Вишневая досталась ей.

В офисе Авросин слыл ловеласом. Цветок, открытка, плитка редкого шоколада или лакрица в прозрачном пакете. Он был, казалось, сделан из сувениров, знаков внимания. Сыпался, не разбирая, зачем и кому. И все же он ей нравился. Может быть, тем, что одевался со вкусом. А может быть, праздной летучестью, которую за собою нес.

Между ними установился полудружеский, полутушливый тон. Авросин почти никогда не задерживался у ее стола, не задевал комплиментами. Оставлял короткие записки с рисунками. Смешные и незлые шаржи.

Она сама предложила выпить. Думала, откажется. Он согласился.

– Тогда у меня.

Сама удивилась: авантюра. Или осень.

По дороге домой смотрела поверх его уха, на разряженные, в медальках, листья. Воздух готовился то ли к дождю, то ли к снегу, то ли к грозе. Жене была непонятна природа, она никогда не знала, что от нее ждать. Она сказала это Авросину, а он усмехнулся, пожал плечами.

– Я ничего не жду.

Руки и плечи оказались у него в веснушках, таких частых и светлых, что в полутьме превращались в золотую кольчугу. Звон дисков переключал в Женин сон и разбудил утром: она завтракала одна.

«Музыка», – вспомнила Женья. Порылась в прихожей. Наушники лежали рядом с обувным кремом. Ехала в метро и слушала Бетховена, чего не делала, наверное, со школы. Пальцы сами собой бежали по перилам, по капроновым коленкам,

Стучали по столу и клавиатуре – с новым звучащим смыслом.

«Все устроится» – что устроится? Как устроится? Можно сменить работу. Снова заняться музыкой. Легко заполнила давно висевший отчет. Удалила две старые папки. За делами не искала Авросина, но вечером вспомнила минувшую ночь и удивилась, что не поздоровалась с ним сегодня. Набрала сообщение и спустилась в метро. Снова шел дождь.

Открыв дверь квартиры, замерла: тени лились серебристыми волнами, как вода. Не включая света, поставила «Лунную сонату». Сняла пальто и ботинки, села на стул напротив стены и смотрела, пока дождь не кончился.

Авросин приезжал к Жене еще три или четыре раза. Спроси ее, изменились ли их отношения, она бы не поняла: не было отношений.

– Ла-тук. Одна «ка», между прочим, – сказал Авросин во вторую встречу.

На четвертой извинился, что разбил бокал, и обещал подарить новый. Ей бы ответить «на счастье», но не ответила.

С Игорем познакомилась на свадьбе подруги.

– Обрати внимание. Крез! – указала невеста.

Крез был высоким, почти бестелесным, а по пятам за них ходила высокая девушка в красном платье. Не успев окрестить ее подходящим прозвищем, поймала взгляд. В несколько секунд блондинка превратилась в сто лет назад потерянную однокурсницу.

Подхватив Креза, уже летела навстречу.

– Знакомься, Игорь, мой друг.

Он стоял перед Женей уже не тенью в конце зала, а другом друга, почти своим. Речь зашла о театре: оказалось, могли сидеть на соседних рядах в Доке.

Однокурсница отошла, обещав принести еще шампанского, а они продолжали говорить, уже о кино.

Никаких объяснений между Женей и Авросиным не было, как и не было завязки. В четверг она отказалась от предложения проводить до метро. Авросин ничего не спрашивал и, как прежде, ухаживал за коллегами. Тон его, шуточный и доброжелательный, не менялся. Два новых бокала в картонной упаковке оставил на столе с запиской «За причиненные разрушения».

Игорю было двадцать семь. Он работал заместителем директора банка, начитан, чуть-чуть нудноват. Любил конную езду и музеи. Мысль завести семью сначала пришла ему даже отдельно от Жени, как самоцельная мечта или план. До нее у Игоря было несколько серьезных романов и столько же несерьезных. Отношения заканчивались, как бы высохнув, потеряв блеск, и, бесцветные, тяготили, отвлекали от работы, наступали на пятки будущему. Женья не наступала, держалась независимо, но рядом. С ней было легко. В сентябре он сделал предложение.

Свадьба переставила Женину жизнь: долги и нелюбимая работа остались в прошлом. Глухая офисная зима понемногу стиралась из памяти. Подвернулся интересный проект, Женья наконец устроилась по профессии. Бокалы «за причиненные разрушения» затерялись при переезде.

Она встретила Авросина в метро, по пути из бассейна. Обычно ездила на машине, но сегодня карта была сплошь красной. Знакомое серое пальто. И новый, синий, шарф. Спросила про работу – Авросин покачал головой. Все гниет. Пошли вместе по переходу, продолжая обсуждать офис. Может быть, чаю?

На улице замешкалась. Густое темное небо наваливалось, плыло, подминало под себя улицу. Плотно стянутые фасады держались сановито, но, казалось, если тьма надавит сильнее – осыпятся, картонные.

– Ты знаешь что-нибудь поблизости?

Авросин кивнул и уверенно зашагал вперед.

– Кормят здесь отвратительно, – сказал он, толкая зеленую дверь.

– Дорого, – снял с Жениных плеч пальто, отряхнул шарф.

– Но атмосфера!

В небольшом зале, соприкасаясь спинками стульев, стояли разномастные столы. Поблескивающие стены сначала показались Жене разукрашенными стеклом и камешками, потом пригляделась – ключи. Людей почти не было.

Заняли черный стол с белой эмалевой рыбой. Хвост ее касался руки Жени, а голова – локтя Авросина.

– Так что ты? Счастлива и беззаботна?

Спросил, подзывая глазами официанта. «Да, – хотела ответить Женя. – Да, все отлично», – хотела сказать она, но поняла, что соврет. У вранья, как говорила мама, есть вкус. Металлический, горьковатый, будто под языком холодный латунный шарик. Если человек много врет, он медленно превращается в истукана.

– Ты спросил, а я вспомнила страшилку, которую мне в детстве рассказывали. Странно, да?

Он засмеялся.

– Неужели я такой страшный?

Она еще ничего не сделала, даже заказа: только сидела с ним за одним столом. Но уже вернулся прежний тон, слабый, но узнаваемый – сладкий, зефирно-мятный запах.

– Закажем солнечный чай. Солнечный чай нам. Самый солнечный!

Веснушки блеснули на ладонях. «Если он предложит, я поеду к нему», – поняла Женя.

– Поедем ко мне?

Кивнула.

Авросин жил в двухкомнатной квартире. Ремонт в подъезде, незаконченная, но отделанная прихожая.

На кухне четыре стула, квадратная черная ваза.

– Располагайся, – предложил он.

Женя села. На черной эмали увидела свое отражение. И только в этот момент испугалась.

Еще немного, подумала она, и столкнутся, и опрокинутся. Два набора вещей, предметов, странств.

Торопливые и непонятные разговоры по телефону, дни, когда мама подолгу уходила гулять, на маникюр, на укладку, всегда легко одетая, всегда с одной и той же прической. С вазы смотрела угловатая домашняя тайна. Впервые, не уворачиваясь, не мерцая, пришла целиком и просила – смотри.

– Нет, я передумала. Поеду домой.

Авросин пожал плечами. Пока ждали такси, успел налить воды и поцеловать в щеку.

Женя вдруг вспомнила, когда видела маму в похожей яркой помаде. В тот раз отец стоял полуголый, в одних брюках, а мать была в высоком платье, уже на каблучках. И у нее горела щека. Мать заметила ее и закричала, чтобы собиралась, – они уедут из этого дома. Женя ушла в комнату и собрала вещи в коробку, потому что не могла найти чемодан. Они не уехали. «Папа, – сказала мама, – очень нас любит».

Образы накладывались, мешались, теряли границы: переезд, общие ужины, походы в кино. Маленькие горькие горошины, в них посеянные, прорастали с невероятной быстротой, пускали корни,

распускались широко и алчно. Тяжесть, неудобство. Распустившись, набравшись цвета, широко и вызывающе смотрели, придавливали, не давали дышать.

– Я открою окно? – спросила она и, не расслышав ответ, нажала на кнопку.

Женя не могла понять, что это: болезненный поворот воображения или вдруг ставшая очевидной явь.

Мы лжем. Я лгу. В горле и носу кололо, воздух нес колючие искры. Он хотел жениться на ком-нибудь. Я хотела расплатиться с долгами. Такси подъехало к дому. Надо сказать ему.

Муж вышел из темной гостиной.

– Привет! Не промокла?

Женя покачала головой.

– А глаза красные.

– Ветер. Что со светом?

– Ничего. Сейчас покажу. Иди сюда.

Женя медленно разулась и сняла пальто. Как начать? Пошла вслед за Игорем в комнату. Ковер нарезан на свет и тьму.

– Слушай, нам надо...

Скользнула взглядом по стене. «Не скажу, – поняла она, – никогда».

По белой стене лились знакомые тени.

– Это от окна, – почему-то шепотом сказал Игорь.

В комнате темно, а на улице – фонари, витрины, фары и, тише всего, луна. Высокое, почти от пола, окно собирало дождевые капли. В комнату бросало оттиск. Тени танцевали невесомо, бестелесно: мимика без лица.

– Ты что-то хотела сказать?

– Здесь должно стоять пианино.



ДВЕ МИНУТЫ



АЛЕНСАНДРА РОМАНЫЧЕВА

Родилась в Москве, имеет экономическое и психологическое образование. Работала корреспондентом в журнале «Коммерсантъ-Власть», редактором в журнале «Русский репортер».

Где-то между тем, как сходит солнечный день и начинаются сумерки, всегда есть две минуты «мягкого времени» – когда все вокруг немного обнимается. Кажется, что в эти мгновения злиться на тебя будут меньше, ты сможешь все поменять, тебя все простят и все сложится наилучшим образом. В две мягкие минуты, пока дело идет к закату, день топчется перед выходом и дает немного тепла. «Это тепло можно поймать и немного согреться», – думал Олег Селиверстов, сидя съезжившись от холода у себя на кухне. В доме плохо топили.

На плите кряхтел чайник.

– Неинтересный ты, – сказал вслух Олег чайнику. И себе сказал.

Уличный пейзаж рисовал настроение. За окном моросил мелкий дождь со снегом, антенны на крыше соседней пятиэтажки растопырились и кололи воздух. Мерзко покрякивали вороны. Олег так и не смог договориться с этим миром на оттенки. Он ждал этих двух минут – но солнечных дней не было уже давно.

Локоть Олега съехал по скользкой папке с документам – бумагами о разводе. Если бы только было бы солнце и появились бы эти две минуты. Становилось так тоскливо, так тянуше на душе: от себя, от шахты и этого пропитанного углем города.

Когда-то давно Олег был пацаном, который вдыхал эту угольную пыль на улице, громко кашлял

и смеялся. Стучал ногой в дверь соседке Марине и убежал. Марина, худая длинная девочка с первого этажа, обычно не открывала. Один раз Олег принес ей в подарок красивую палку – и ей ужасно понравилось. Она таскала за собой везде эту обрубленную ветку, а Олег пух от гордости. Летом они с Мариной раскрашивали палку красками и шли в ближайший лесок играть. Перед Новым годом надевали на нее мишуру, и выходил посох, всегда более настоящий, чем во всех мультфильмах, что они видели по телевизору. Загадывали желание поехать в соседний большой город за подарками. И просили вещи, которые им и так бы купили родители, – вроде перчаток для занятия хоккеем Олегу или Марине новый под-одеяльник.

Уже подростками они с Мариной много сидели на лавочках около подъездов. Она выходила из дома при любом удобном случае – ее нервировал громкий телевизор и вообще громкие голоса бабушки и мамы. Марина фыркала. Выдыхала зимний пар. А Олег все – поплыл совсем.

Вечерами дома в кровати он ворочался с боку на бок, все вспоминал это фырканье. И дыхание. И вообще, кроме Марины, никого в своей жизни не видел. Он, Марина – и это все, что есть сейчас вокруг навсегда. – Я бы вообще все что угодно делала, лишь бы уехать отсюда, я бы или писала, или там по математике чего-то делала, – сказала она как-то.

– Мне такая мысль в голову не приходила, – ответил он.

– Неинтересный ты.

Олегу было все равно, чем заниматься: он много читал и много размышлял, но его деятельность никогда особо не волновала.

– Ты это самое. Мало надо. Пресперктивы где? – спросила Марина.

– Перспективы.

– Неважно. Важно, что тут – унылое говно.

Олег всегда отвечал на это молчанием: весь Маринин бунт, громкость от ее семьи в ней он глушил собой, прижимал к земле, заливал дождем. Марине легчало – снова можно было обсуждать одноклассников, лежать вместе на снегу, лежать вместе в постели.

Что делала Марина – ему было ну совсем неинтересно. Она продавала что-то, кажется, и, кажется, много работала. Окончила ли она вообще школу? Ему же самому нравилось просто быть – и вообще ничего не делать.

После школы он начал таксовать: теперь можно было ездить по знакомым улицам часами и рассуждать о жизни. Хотя в целом он был готов пойти в шахту даже «лопатой». Что развело их с Мариной – этот унылый город, который пожалел немного солнца? Унылый он сам?

– Слушай, я это – я очень благодарна тебе и ты мой самый лучший друг. Ты добрый. Предлагаю дружбу нам, короче.

– ?

– И развестись я хочу. Вот. – Марина протягивает какие-то бумажки.

Туман. Туман. В голове туман почище того, что на улице. И что остается с этим сделать? Только промолчать и согласиться.

Олег с ужасом вспоминал эти ее слова, и вспоминал их каждый день. Как будто бы его нога ушла от него, но сказала – давай останемся друзьями. Или ему помахала его рука. Часть тела попрощалась с ним. Осталось только согласиться с этим и умереть.

На подоконник сел ворон: осуждающе глянул и мерзко крикнул.

– О! Ну и что ты смотришь? Поешь тебе?

Олег поднялся и потянулся к хлебнице. Ворон поглядел на палку в мишуре в углу кухни. Каркнул. Улетел.

– Каркнул как плюнул, – сказал Олег.

Уже довольно давно он разговаривал сам с собой. Грустил и ни с кем не общался. Потому что нет смысла говорить с кем-либо, кроме как с ней. Развлекал

себя как мог – бесконечно шнырял по городу, ходил в лесок, притворялся больным и прогуливал работу. Вообще не пил. Придумывал себе друзей. Придумывал себе девушку, придумывал себя другого.

Марина уезжала в город.

Олег вдохнул и набрал Маринин номер.

– Я тебе тут хотел сказать... что я к тебе, конечно, как к другу не отношусь.

– Это понятно, – сказала Марина.

Олег осознал, что все не то, надо сказать что-то важное, сильное. И про их детство, и про то, что он чувствовал в этом городе, и про то, что он там заботливый и все такое. Вообще про то, что такое дом! Что-то главное сказать.

– Знаешь, есть вот такие две минуты времени удивительные – между тем как день заканчивается и начинаются сумерки. Мы с тобой как-то сидели на лавочке уже ближе к вечеру, и появился такой мягкий-мягкий свет. Я тогда предложил тебе выйти замуж, и ты согласилась. Тогда невозможно было сказать «нет», я считаю. Вот эти две минуты. Ну погоди, ты помнишь вот этот момент? Нет. Ты чувствовала вот этот момент?

Марина молчала. Вздыхала, фыркала и молчала в трубку.

Олег попрощался, достал заявление о разводе, все заполнил. Подписал. Беспросперктивно.



КРАСНЫЕ ВОРОТА



АЛЕНСАНДРА БРУЙ

Родилась в Узбекистане (Узбекской ССР), выросла в России. Работает редактором. Публиковалась в альманахе «Пашня», сборниках «Твист на банне из-под шпрот», на портале «Сигма». Живет в Туле.

В темной комнате на полу сидит молодая женщина. Перед ней лежит и светится телефон. «Был в сети был в сети был в сети был был», – раздается тихое пение.

Экран медленно темнеет, и женщина, замолкая, дотрагивается до него пальцем, оживляет. «Был в сети был в сети был».

Утром она ходила к сестре, сестра сказала: «Умидка, давай курпачи* подошьем», потом: «Помоги с уборкой, все равно сидишь!» Сейчас и завтра не нужно идти, не просили. Сейчас можно делать что хочешь, и Умида сидит.

На следующий день улица кишлака стоит еще без людей, Умида идет вдоль домов по серо-желтой дорожке. Петухи глухо орут в закрытых курятниках, простуженно всхлипывают ишаки. Ветер, как всегда в феврале, злой и бросается мучнистой песочной пылью в глаза и за шиворот.

Умида кутается в пальто – черное в ромбах, без пуговиц, не пальто вовсе, а отцовский чапан до пола, поправляет колючий платок. Идет она быстро, но смотрит по сторонам и успеваешь гадать по воротам: «Вот здесь, – она думает, – сын уехал или отец, а может, два сына поехали – ворота железные, с резьбой; в углах краской позолотили. Красиво!

У этих хорошо тоже – на стройке сын, там – отцу пришлось, старику, поехать».

Умида подходит наконец к нужному дому, простому, как все в кишлаке: долгая глина, быстрый песок, чуть-чуть соломы. Ворота – гранат с золотым; дутые треугольники, квадраты, кружки. Умида дышит на руку и жмет на звонок, дышит на вторую и давит еще раз.

Квадрат с треугольником делятся на два, круг становится полумесяцем.

– Ты, Умида? Поняла! – Сонная женщина протягивает пакет. Дверь она держит как щит, тихонько выглядывая.

Уже дома пакет сползает на пол, Умида растирает красные руки. Затем берет телефон, смотрит.

Дилшат был в сети второго февраля в двенадцать. Неделю назад. Умида набирает номер, звонит сестре, слышит:

– Алло, Умидка, на рынок сейчас поедем, риса нет, муки мало, приходи!

И она идет.

Умида, сестра с мужем-муллой, две дочери едут в машине почти без слов. Мулла молчит, грустный, значит, все молчат. У развала с орехами говорит:

– Позвоните потом, сумки заберу.

Сестра с дочерьми оживают.

– К Замире свататься приходили. Парень красивый, на всех фотографиях улыбается. Вернется через

* Стеганный узбекский матрас, на котором спят, отдыхают и сидят во время трапезы вокруг низкого стола.

год, познакомятся. Дороги, говорят, чистит. Москва! Эй, хоть бы и пораньше, ну кто знает, когда? – говорит сестра. И потом серьезно: – Дилшат звонил?

– Да. Тебе нитки нужны? Пошли!

На рынке жарится рыба, над тандыром танцует пар. Лепешки смазывают маслом и кутают в одеяло. Бубнят женщины, приглядываясь к рису. Девочка по заданию матери поправляет лопаткой чай – делает горку в мешках с листочками-запятыми.

Купили муку и рис, сладости, дочкам на платья три метра поплина в блестящих.

– Давай и тебе возьмем?

– Не нужно, спасибо.

Уже уходя, встречают Лолу и Адлию – двух старух, укутанных в малахит с вишневым, в завитушках и вышивке.

– Сын деньги присылает, успел бы приехать! Навруз*, потом помирать пора... Хоронить кто будет? – причитает одна.

На ее сморщенном подбородке Умида замечает толстый и длинный волос, растущий из жирной родинки. Смотреть не хочется.

Мальчишка-мясник за дальним прилавком перекалывает потроха из таза в пакет покупателя. Черные пятна отбитой эмали, стылая кровь, иней, газета, длинные бесконечные потроха. «Ничем не пахнет», – думает Умида.

У сестры варят плов, достают соленые помидоры. Молча едят. Хихикают девочки. За чаем сестра предлагает остаться. Но Умида спешит и уже идет домой людной улицей.

– Как дела? Дилшат скоро? Навруз ведь!

– А ваши? – отвечает, пряча глаза от новых соседских ворот.

Подойдя к дому, в кармане находит деньги и минуту смотрит на них, стоя под фонарем. Долго возится с ключами и наконец входит в дом. Скидывает пальто, вглядывается в телефон. «Был в сети второго февраля в двенадцать».

Включает свет, комната лениво желтеет, как на старом отцовском снимке. Принесенный утром пакет Умида встряхивает над машинкой, выпадает ткань – зеленая с бахромой, нитки, тесьма блестящая и колючая. Умида придвигает стул. Машинка молотит, свет не хочет светить, ткань ползет со стола и обрываетно.

«Был в сети второго февраля в двенадцать», – читает Умида, лежа в кровати. Сестра написала, что не подсовывала деньги. Врет.

Утро идет привычным маршрутом. Кишлак спит, ишаки кашляют и тревожатся по дворам, петухи глухо орут. Умида звонит в ворота. Гранат с золотым блеском иглоками инея, пар от дыхания вытаскивает круг в другом, выпуклом, круге. Выходит женщина, берет пакет, хочет что-то спросить, но Умида кивает:

– Идите скорее спать! Рано и холодно.

И спешит обратно, не глядя по сторонам.

Через пару часов Умида закрывает ворота своего дома на ключ. Они деревянные и белесые, кое-где видны серые трещинки. «Были новые один год, а теперь лысые», – думает Умида.

Она идет через дорогу, подходит к чужому дому. Ворота железные, бугорки от слоев плохой краски. Звонит. Открывает седой старик в пыльной шерстяной шапочке.

– А, дочка Умида, проходи, – приглашает ладонью в дом.

– Нет, спасибо, деньги я принесла. Сено купите, моя же очередь.

– Зачем? Подождем, – говорит старик, – потерпим.

– Это Дилшат прислал, возьмите!

Но старик прикрывает дверь, отмахиваясь.

– Баранов твоих прокормим, всего три. Терпит!

Ветер стих. Дети играют в футбол. Мяч устало шоркает по пыльной дороге. Дух мерзлого сена и молочного пара плывет по улице. Умида идет к другой, старшей, сестре.

У нее шумно и много внуков, она не помнит всех по именам. Четыре невестки и муж-старик здесь, все сыновья в Оренбурге. Дом большой, ковры пружинят, все курпачи лежат шелковой стороной вверх. Пахнет горячим тестом, перцем, тушеной говядиной, луком. Невестки в платках и нарядных платьях чистят, скребут казаны, снимают и вешают шторы, приносят чай.

В пиалу Умиде проскальзывают чайники – рублевые листки из чайника, укладываются на дно. Старшая сестра подливает и себе, берет с тарелки пирожное, откусывает. Сыплется кокосовая стружка.

– Хорошо тебе! Детей нет, шума нет, сама себе хозяйка!

– Зачем же согласилась? С детьми его.

Старшая сестра смотрит на Умиду, обтирает от крошек губы:

– Гули, принеси чаю еще, остыл этот!

Девушка с каштановыми волосами и заколкой-бабочкой приносит и ставит на стол сине-золотой чайник.

* Весенний праздник равноденствия, или Новый год в Центральной Азии, празднуется 21 марта.

– Ты за отцом ухаживала, а мне что? – спрашивает сестра, провожая невестку взглядом. – Дом теперь твой, а люди говорят, как ветхий стал. Но я-то у себя хозяйка!

Умида берет пиалу, чай допивает глотком. Минуту смотрит, как в другой комнате встает на ножки и падает маленький сестрин внук.

Домой идет быстро. Входя, замечает, как двери скрипят, открываясь. Оглянулась: вдруг кто услышал? Только старые тополи, вспученные стволы виноградных лоз, пыль.

Дилшат был в сети второго февраля в двенадцать. Умида шьет весь день, забыв поесть.

Рано утром идет через спящий кишлак, несет сверток. Петухов не слышно, ишаков не слышно, все стоит мертвое и не дышит. Умида звонит, отдает, получает тяжелый сверток, бежит домой.

Дома она сбрасывает чапан, вяжет крепче платок: вокруг шеи, спины, груди. Открывает сверток. Пакет шуршит, там снова пакет. Внутри – банка краски.

На улице все еще мертво и кое-где фонари. Умида окунает кисть и мажет ворота, окунает кисть, мажет.

Спешит, смотрит в банку – должно хватить. Мажет бережней, чтобы следить за краской. И вот, наконец, закончила, можно войти во двор. Умида держит дверь за изнанку, проходит на цыпочках. Воздух крепко окрасился тяжелым бензинным запахом. «Ничего, пройдет». В доме она садится на пол, стягивает платок. Волосы прилипли ко лбу и мокро лежат на шее. Умида молчит, дышит, смотрит на испачканные краской руки. «Красная. Это хороший цвет».

Дилшат был в сети второго февраля в двенадцать.



и стекло серванта. Мы своим приездом немного разрушаем этот порядок. Папа открывает сумки и распаковывает вещи. Он кладет стопки, пакетики на пол, а бабушка суетится, торопится их спрятать. Он достает коробки конфет, которые пациенты бесконечно дарят маме, лекарства для дедушки и бабушки и хлеб. Здесь нет черного хлеба, поэтому папа всегда привозит им несколько видов.

За ужином бабушка и дедушка едят его, смакуя, как пирожное. А я пью воду маленькими глотками. Она у них всегда теплая, хотя я поворачиваю холодный кран, когда наливаю, и сладкая на вкус. Я смотрю на заклеенные белой бумагой окна и жду, когда бабушка откроет варенье. А потом я иду к ней в комнату, где прохладнее всего, валяться на толстенном синем ковре, и предвкушаю, как мы поедим купаться. Взрослые говорят, что это не море, а река, но я им не верю. Там огромная вода, и однажды я видела вдалеке кита. Он был точно такой, как в книжке, а их у бабушки – целая стена в Витиной комнате, и каждое лето я ишу такие же, как у нас дома, и убеждаюсь, что новых не прибавилось. Пусть все так и остается, не хочу, чтобы здесь что-то менялось.

А потом внезапно, как это бывает только в детстве, я нашла в квартире еще одну комнату. В ней никто не жил. Маленькая, с неприкрытыми окнами, отчего и без того светлые обои и шифоньер выцвели. Пружинная высокая кровать с высоченным матрасом, в углу тюки с ненужной одеждой, теплые вещи, рюкзаки, корзины, куртки, сломанный пылесос. У окна стол, занятый шкапулками, книгами, «Зингером», стопками газет, а под столом дозревают помидоры и груши. Весь пол заставлен банками с вареньем, кроме узкой тропинки от двери к кровати, и от духоты в комнате пахнет так, как будто варенье продолжает кипеть на плите, маня к себе пчел и сладкоежек.

Как я могла не замечать ее раньше – не знаю, но когда нашла, немедленно принялась исследовать ее. Никто не обратил внимания, что я там играю, что пытаюсь приоткрыть шкаф. Вскоре я зарылась в вещи поглубже и среди старых учебников нашла книжку о животных. У нее отрывался корешок, рисунок на обложке стерся. Страницы были темнее моих загорелых рук, трухлявые и мягкие. С черно-белыми картинками зверей.

Папа обрадовался при виде книжки. Открыл ее посередине и показал каляки-маляки красным карандашом.

– Это я в детстве нарисовал. – Он как будто гордился сотворенным.

Тут с работы пришел дедушка, прямо на пороге квартиры достал из кармана яблоко для меня. Мой папа протянул ему книжку:

– Смотри, пап. Ты помнишь ее?

– Конечно, Зоина любимая книжка, – ответил дедушка, открыл книгу, из нее выпала пара страниц. – Надо подклеить. Как же она тогда разбушевалась. Столько книг порвала, а эту начала, но не стала.

– Ты что-то путаешь, пап! Она не могла. Это, наверное, тоже я порвал.

– Ты маленький был, не помнишь. – Дед вернул мне книжку и ушел на кухню. Стоял там, смотрел в окно.

Я вернулась в комнату с книгой. Бабушка зашла позвать меня обедать (она никогда не кричала через всю квартиру и никому не разрешала). Увидела книжку, села на кровать и вдруг начала читать. А я слушала. На следующий день чтение повторилось. Я не задавала вопросов, потому что когда взрослые ведут себя странно, лучше молчать. Тем более мне нравилось, как читает бабушка. Совсем необычным своим голосом, за каждого персонажа она говорила по-разному, и с такими интонациями, что истории оживали.

И чтения повторялись и на следующее лето. Бабушка приходила в захлавленную комнату, брала книжку и читала. Иногда она ложилась на кровать, тогда я клала ей голову на живот. Она читала вслух про тигренка Ваську, а ее живот урчал мне прямо в ухо.

Книжка не покидала комнату. Я уже умела читать, но ждала бабушку. За годы я выучила текст наизусть, но все равно каждый раз надеялась, что тигренок Васька не умрет, его выпустят на волю и он будет счастлив. И каждый раз оплакивала его. Бабушка тоже плакала. Слезы и отпечатки мокрых пальцев въедались в странички и оставались на них новыми шрамами.

Как-то раз бабушка закончила читать историю. В комнате повисла тишина, как бывает в театре, когда последняя реплика прозвучала и вот-вот грянут аплодисменты. Но я все испортила и спросила:

– Кто такая Зоя?

– Зои нет. – Бабушка поднялась и ушла с книжкой в руках. И больше не читала.

После многое встало на свои места. Эта маленькая комнатка с хламом – Зоина. Эти кровать и стол – Зоины. Я рыла залежи и вытаскивала карандаши «Искусство», учебники по рисованию. Все находки я показывала папе и дедушке. И они подтверждали, что это все Зоино. Она любила рисовать, она даже участвовала в выставке, когда ей

было шестнадцать, а история про Ваську была ее любимой. Она болела и долго жила в больнице. Нет, даже наша мама не могла бы ее вылечить. А карандаши забрать можно. Это очень хорошие карандаши. Я увезла их в своем рюкзаке, чтобы дома заточить и любоваться палитрой. Теперь изумрудный окрас дедушкиного «ЛуАЗа» не самый яркий.

- В коробке так много цветов, – сказала я папе, когда мы ехали домой, – теперь я смогу нарисовать живого человека с не слишком розовой кожей. Может быть, я смогу нарисовать Зою.
- Рисовать людей очень сложно. – сказал папа, – ты же ее никогда не видела.

2.

Я не нарисовала Зою. У меня вообще плохо получилось рисовать. Соседка по парте могла изобразить все что угодно. Еще она пела. А я на фортепиано промазывала мимо клавиш. Я слышала, что что-то не так, но не понимала, что.

- Это хорошо, что ты не талантливая. Зоя талант до добра не довел, – сказала мама.
- Так ты знаешь про Зою?
- Да, папа мне рассказал, но уже после того, как ты родилась. И я очень на него рассердилась.
- Почему?
- У Зои была шизофрения, а это передается по наследству. Я боялась, что это могло передаться тебе.
- Но не передалось?
- Нет. Зоя не его родная сестра, а ты у меня совершенно нормальная.

Быть неталантливой и нормальной – грустно. Моя мама – прекрасный хирург, она всегда училась только на пятерки, а мой папа знал все про животных и татаро-монгольское иго. Еще однажды он сшил за ночь костюм Красной Шапочки из белой простыни. Он никогда не шил и не красил. Он долго смотрел на мою куклу, потом взял ткань и ножницы, а наутро у меня был лучший костюм Красной Шапочки. В нем я должна была сыграть на школьном концерте пьесу на фортепиано (я ошиблась трижды) и рассказать стихотворение на немецком (перепутала все артикли). Хорошо, родители оба были на работе и пропустили концерт. Я могла им передать, как все восхищались костюмом. Но не мной.

Я хорошо училась, но не блестяще. Я читала чуть больше, чем все остальные. До школы было далеко ехать, и поэтому у меня было время на книги. А когда много читаешь, то начинаешь сочинять истории. Например, что как-то раз видела Зою. Она

была в очках, сидела напротив окна, рисовала букет. Но тебя ругают. Врать нехорошо, даже додумывать нехорошо, а реальность такая скучная. И в школу ехать полтора часа. Я ранним утром в темноте жду автобуса и очень хочу спать. В давке меня пихают, ругаются на мой рюкзак. Я высокая и донашиваю мальчиковую куртку, так что пассажиры решают, что я не девочка, а мальчик, и меня пихают еще больше. Но лучше так, чем кто-нибудь начнет лапать. Я захожу в школу и выхожу из нее, а на улице почти всегда темно. Часто в автобусе была такая давка, что я не могла даже отодвинуться, чтобы открыть книгу. Бывало, я так стоя и засыпала. И мне снилось, что я у бабушки и дедушки в их городке, где мне мерещилось вечное лето.

Что там тоже бывает зима, я увидела на Зоиных рисунках. В пятнадцать лет я впервые сама путешествовала на поезде так далеко и приехала к бабушке одна.

На кухне гудит холодильник. В нем давний суп, в который бабушка кидает пельмени и кипятит. Я такое есть не могу и ухожу в магазин. На улице жарко, трава пахнет и стрекочет. Асфальт в трещинах и ямках. Домов выше пяти этажей нет, машины старые. Люди как будто ниже меня ростом. Многие женщины в халатиках, наверное, такие и называют ситцевыми. Мои шорты кажутся здесь слишком яркими и короткими. Я иду мимо бочек с квасом, клумб с вырванными цветами. Магазины тоже странные. Хлебный – это один павильон, молочный – другой на соседней улице. Цены нигде не указаны, как и название продуктов, все знают, что это и сколько стоит. Я прошу батон, его нет. Есть только белый хлеб. Его не режут.

Я иду обратно, щиплю ноздреватую буханку. Хочется лимонаду, но где магазин – мне неизвестно и слишком жарко, чтобы думать об этом.

Дома бабушка встречает, уперев руки в бока и хмурясь:

- Явление Христа народу. Наконец-то! Не стой в двери, соседи увидят. Где ты так долго? Куда ты ходила?
- За хлебом, в соседнем микрорайоне.
- Зачем же так далеко! И не тот купила, горе ты луковое.

В следующий раз бабушка не пускает меня одну.

- Дома я сама езжу в школу и гуляю с подружками, – пытаюсь убедить ее я. – И по Москве гуляла одна и не потерялась.

- Незачем шататься. Читай лучше. И вообще привыкай. Какая комната тебе нравится больше? Переедешь к нам после школы.

Я в ужасе молчу. А бабушка звонит, ставит квартиру на охрану. Она одета в симпатичное платье из плотной ткани, приколотла брошку и побрызгалась духами, такими старыми, что они пахнут пудрой. Мы выходим, она закрывает замки, дергает двери. За это время я наконец могу выдать:

- Я сюда не перееду, я собираюсь в университет.
- Не шуми в подъезде, а то соседи услышат, что мы ушли.

Спускаемся молча. На улице среди стрекота кузнечиков бабушка продолжает:

- Продавать такую хорошую квартиру не дело. Ты переедешь сюда и будешь жить с нами. Здесь тоже есть университет, – говорит бабушка.

Она шагает по тропинке, по которой я не ходила. Я не могу идти рядом и плетусь сзади, но слышу, как бабушка снова перечисляет, что мне останется в наследство. Квартира, машина, толстый синий ковер.

- Вот была Танька в соседнем подъезде. Как ни встречу, она все ест карамельки из кулечка. Каждый раз! Она ничего своим внукам не оставила, все проела.

Эх, мне теперь так хочется карамелек, но я понимаю, что лучше не просить. С утра я уже бабушке рассказала про старый фильм, где собаку зовут Бетховен, она очень возмущалась, что кто-то так обидел композитора. Уподобиться сейчас Таньке с кулечком конфет будет еще хуже. Вечером звонит мама и обещает мне, что все это наследство получить совершенно необязательно.

- Купить тебе билет?
- Побуду еще. Дед обещал научить водить машину.

Он попытался. Оказалось, у автомобиля такой тяжелый руль, что мне его не повернуть. Мотор дважды заглох, а когда я смогла мягко отпустить сцепление и не дернуться вперед, то проехала пять минут и почти угодила в кювет. Думала, дед взорвется, что я бестолочь, но нет, мы поехали дальше на дачу. Сад такой же таинственный, как и в детстве. Дом темен и прохладен. Над цветами летают мушки, под скамейкой растет мелисса, а на столах для сушки вялятся абрикосы, подобранные с мягкой земли. Теперь я смелее, не боюсь встретить крысу. Облазила все углы и ящики. И нашла сверток в пакете.

Мы перекусываем с дедом бутербродами с колбасой и пьем лимонад. Я смотрю картины из свертка. Дед говорит:

- Можешь забрать, а то они здесь попортятся. Только лучше, чтобы бабушка их не видела.

Мы идем на речку. Она лениво несет рыжеватые воды. Над ней мост, по нему мчат машины. Я никак

не могла видеть здесь кита, но меня это не разочаровывает.

Разбираю старые рисунки. Мягкая от времени бумага. Насколько белее она была сначала? Разводы от воды, сырости. Излохматившиеся края. И поднимающиеся облачка пыли. А на ней яркие краски: красное пятно флага на демонстрации, горящая вывеска «Молоко» в фиолетово-чернильной ночи, желтая бочка с квасом летним днем. Некоторые рисунки повторяются: проба краски, кисти, разные ракурсы. На обороте наброски карандашом. Я узнаю Зоину комнату, кровать, только на картинке нет хлама. Вижу бабушкину любимую вазу и сахарницу, слепленную из керамических орешков. На обратной стороне либо еще рисунок, либо черновик, в одном месте – Зоин автопортрет: короткие волосы, очки. Кошка в карандашных набросках то тянет лапу, то лежит очаровательным клубком, и я невольно глажу штрих карандаша по мягкой бумаге, как будто кошка живая.

Есть рисунки, где только зеленое и фиолетовое. Они не закончены, не аккуратны, осталась клякса от брошенной кисти. Вот черно-белая: отражение в зеркале, девочка сидит в кресле, а позади люди в белых халатах. Наверное, это парикмахерская. А вот сугробы и люди в шубах. Тот же магазин с вывеской «Молоко», но посреди снега. Группка мальчишек с клюшками, у всех румяные щечки. Много картинок с дождем, и у меня за окном тоже льет. Этим летом яркое солнце выключается. Дедушка исчезает в гараже, у бабушки болит голова и она ненадолго выходит из спальни, чтобы проверить, что я не включаю лишний свет.

Когда мне надоедает читать, я иду рыться в вещах, надеясь найти что-то Зоино. Или еще одну банку абрикосового варенья. Я съедаю примерно одну в день, и это единственное, что в моих привычках бабушку не задевает. Ей не нравится, что я чищу зубы пастой, а не порошком. Я нашла на антресолях три картонные коробки нового мыла. Но бабушка все равно требует его экономить. Я молча слушаю ее ворчание.

Она снова предлагает мне тот суп с пельменями, он простоял в холодильнике еще неделю. И я впервые в жизни решаю что-то приготовить сама. В муке и во всех крупах ползают жучки. На мои вопли ужаса бабушка говорит, что надо лишь просеять, и будет чисто. И я слушаюсь. Валяю, стараюсь не испачкать пальцы, в этой сероватой муке кабачки, жарю. Дед ест их с таким аппетитом и нахваливает. А я не могу. Сiju напротив него, катаю по столу абрикосины. И говорю дедушке, что если он купит муки, то

беспокоились, искали ее, а когда она пришла, то была вся грязная, в крови, в разодранной одежде, плакала. Вскоре и был первый приступ. Если б не случилось плохое, то, может...

Мы помолчали.

- А потом?
- Она вернулась, какое-то время все было хорошо. Но тогда не было толком лекарств, психологов. Об эпизоде постарались забыть, но Зоя начала исчезать. Уходила, потом не могла вспомнить, где была. Потом опять вспышка агрессии.
- И ее забирали в больницу?
- К двадцати годам стало понятно, что Зоя опасна и для себя, и для окружающих.
- А умерла она в тридцать девять. Все это время она прожила там?
- Да. Мы навестили ее с отцом последний раз года за два до. Но больница была далеко. Зоя не узнавала нас, не реагировала. Умерла от токсического гепатита.
- Она рисовала?
- Нет, не рисовала.

Я разозлилась и, чтобы отвлечься, продолжила разглаживать картины и складывать их в папку. Почему же все получилось так? Человек не должен половину своей жизни провести взаперти! Это несправедливо. Я всматривалась в уже знакомые мне рисунки. Виды из окна, иногда зеленые с каплей желтого поля и тянущиеся над ними линии провода, лодочки, скамейка в парке, одинокая фигура идет к арке по снегу в зелено-синих бликах. Зоя мало рисовала людей, а если изображала, то со спины, скорее, фигуры, чем лицо. Я достала из стопки ее автопортрет, чтобы рассмотреть получше. Вообще, их там было два. Первый – набросок карандашом. Зоя слишком честно расписала себе мешки под глазами, от этого она получилась грустной, уставшей. А на втором, черной акварелью, – полуулыбка, ясный прямой взгляд. Краска смягчила линии, и Зоя кажется милой. Показала папе:

- Мы не должны ее больше забывать.

Он кивнул. В итоге он забрал себе пару натюрмортов с цветами повесить на стену. А мне достались остальные, и несколько вечеров я пересматривала их и фотографировала. Я хотела узнать больше, но увя. Так жаль, что она не подписывала даты, места. Три записи на сотню рисунков: инициалы, надпись «повторить» и конспект.

Инициалы У.Н. под портретом в три четверти молодого человека. На папу не похож. Я искала, может быть, это актер или певец того времени. Нашла только одного: смутно похожего Уилдуса. Цита-

ты гугл тоже подсказал не все. Одна про художника Иванова: «Мало таланта, ума, образования и развития, мало счастливых материальных условий – нужен *темперамент*, чтобы человек по натуре своей ничего не любил больше искусства, чтобы ни одно увлечение не перетянуло его в сторону». Зою перетянуло не увлечение.

Другая цитата была про детство Серова: «Мольберты, кисти, альбомы входили в обычную нашу обстановку. Рисовали на вольном воздухе, в комнатах, даже на кухне – и всегда всерьез, с требованием истинного искусства». Думаю, таким бы и был Зоин дом.

Я перебрала в гугле все фамилии, улицы, школы, что мне сообщил папа, весь поиск по картинкам, но не нашла никаких архивов, записей, выписок. Поисковая машина отчаялась удовлетворить мой запрос и выдала: «Имя Зоя значит “жизнь”». Немного не тот ответ, который я бы хотела получить. Совсем не то наследство, что обещала бабушка. Не та жизнь, которую желала бы Зоя, но пусть она еще поживет в своих рисунках и этом рассказе.



Юность № 4
Апрель 2021

ЗОИЛ

«ПОСЕЛОК НА РЕКЕ ОРЕДЕЖ» А. ГРИГОРЯН И «НА ПОСЛЕДНЕЙ ПАРТЕ» М. ХАЛАШИ — ДВОЙНЯШКИ?



—
СТЕФАНИЯ ДАНИЛОВА
Родилась в 1994 году
в Сыктывнаре. Поэт. Лауреат
премии «Послушайте!» имени
В. Хлебникова.

*Но знала чертова дыра
Родство сиротства — мы отсюда.
Так по родимому пятну
Детей искали в старину.*
Сергей Гандлевский, 1980

Бродишь по улочкам незнамого зарубежного города, и что-то неуловимо напоминает тебе твою родину: то ли очертания этой группы домов, то ли взрыв смеха с балкона, то ли качающаяся листва. Слышишь песню на языке, слов которого не разберешь, но как будто узнаешь ее: подобный мотив ты уже слышал, но это совсем разные страны и даже эпохи, авторы не могли быть знакомы друг с другом, это не кавер, и даже не ретеллинг, и тем более — не плагиат. Даже люди могут встретить своих двойников, обладающих разной национальностью: об этом недавно было любопытное исследование. Лет в двенадцать я размышляла в стихотворении «Хранилице Великого Забвения» о том, что схожая идея может быть рождена дважды, а то и трижды, в не связанных друг с другом координатах времени и пространства.

Таковыми неожиданными двойняшками для меня оказались книги «На последней парте» венгерского автора Марии Халаши и «Поселок на реке Оредеж» петербургской писательницы Анаит Григорян. Говорить я буду преимущественно о второй, потому что о первой все самое важное уже написали, хотя и мало. На книжных прилавках толком нет ни второй, ни первой, что зря.

Книга Халаши написана в 60-е и посвящена острой проблеме «чужой, не такой, как все». Главная героиня — юная цыганка Нати Лакатош, ученица обычной венгерской школы, которая постоянно попадает в неприятности, потому что она — цыганка, другая, чужая. В 90-е годы имя Халаши

было забыто как в Венгрии, так и в России. Несмотря на то, что в книгах затрагивались проблемы тяжелого детства: нехватка родительского внимания и жестокость к детям, дискриминация и попытка найти свое место под солнцем, — их стали воспринимать исключительно в контексте просоветского дискурса, который в обеих странах утратил свою актуальность. Анаит Григорян написала «Поселок на рене Оредеж» в 2019 году. Протагонистка — тезка и ровесница Ланатош, подросток Нэтя Номарова, вечно в ссадинах и с обкусанными ногтями. «На последней парте» — одна из книг, любовь к которым, заложенная в детстве, не вытравливается уже ничем; неудивительно, что, идя вглубь «Поселка...», я встречаю знакомые повороты сюжета и силуэт, который уже где-то видела...

Обе Нэти родом из многодетных семей, живущих за чертой бедности. Смотрят на мир настороженно и, пожалуй, ничего от него не ждут. На добро реагируют по-звериному: когда в Венгрии продавщица Этуна хочет чем-то угостить Нэти, та смущается и убегает, когда в поселке продавщица Олеся Иванна спрашивает, поела ли Номарова, та отрицается, будучи очевидно голодной. В обеих книгах есть фигура учительницы, стремящейся понять: венгерская тетя Дерди, применяющая весь свой мотивационный спектр от кнута до пряника, от наказания за потерю роли для классного спектакля до приглашения к себе домой; безымянная поселковая учительница, говорящая Номаровой «можешь, но не стараешься» и обещающая подарить ей новенькую географическую карту за успехи в учебе. У Нэти Ланатош — братья, бесталанный раздолбай Руди, который ей грубит, и Шаньо, чье поведение далеко от идеала; у Нэти Номаровой — девятилетняя сестра Ленна, таскающаяся за ней, как хвостик, близняшки Анька и Светка, отстающая в развитии Оленька, вечно болеющий Саня и пропадающий в поселке Ваня, которому пророчат будущее, как у местного грозы района Антона Босого.

В обоих произведениях фигурирует мягкий пуховый платок как подарок судьбы. Номаровой белый платок достался от сердобольной попадьи Татьяны, которая фактически является ангелом-хранителем всего поселка и никому не отказывает в помощи. Для Ланатош небесно-голубая шелковая шаль цвета глаз матери, умершей рано, — последняя память о ней. Мама у Номаровой есть, но сложно сказать, что она выполняет свои родительские обязанности добросовестно, поскольку подвергает детей регулярному физическому насилию, вымещая на них всю злость за собственную нереализованность и угробленную жизнь. Восемь детей — плоды браны с человеком, который несколько лет назад стоял на платформе с сияющими глазами и говорил о большой любви, а в мрачном сегодня по-черному пьет и доставляет одни проблемы. Не имея своих детей, потому что «бог не дал», попадьи Татьяна, реализуя через заботу свой материнский инстинкт, становится Номаровой второй матерью: и приютит, если дома мать «дала звону», то есть как следует побила и наорала, и обогреет, и залагает порванную одежду, и накормит вкусными котлетами. Для девочек эти платки — что-то очень важное, теплое не только по форме, но и по содержанию, по значению, которое понятно только им. Примечателен и мотив бабушки в обоих произведениях: и Нэтина бабушка-цыганка, берущая с собой внучку торговать на рынке, и бабка Марья — искусные сказочницы, и хотя их истории и простые, они способны вложить в детское сердце куда больше, чем гомон улицы и грубые окрики матери.

Венгерский мальчик Крайцар, показавший Нэти увлекательный мир заброшенного кладбища, похож на Максима, который зовет Нэтью смотреть поезда. Поселок настолько «полон достопримечательностей», что если

для любого из городских жителей поезд — обычное дело, а метро — ежедневный квест, то для оредержских ребят это настоящее событие. В обоих случаях можно говорить о первой влюбленности девушек, появившейся в такой среде, где невозможно ни обговорить это с кем-либо, ни признаться в этом самим себе.

Даже лихорадка обеих Нать описана крайне схоже: спутанное, лоскутное сознание, одни люди становятся другими, потерянные вещи находятся легко и быстро, и болезнь в обеих книгах — не столько физиологическое происшествие, сколько подчеркнутая реакция на происходящее. Только если для Ланатош болезнь становится поворотным пунктом, благодаря которому к ней начинают приходить домой одноклассники и завязывается коммуниация, то для Номаровой зараза, подхваченная от брата Сани, — это открытый финал книги, где каждый из выходов будет по-своему спасительным. Если о ней кто-то решится заботиться, наконец, это будет хорошо. Если она погибнет, в этом тоже не будет ничего плохого: рена в Оредерже будет так же течь, Олеся Иванна так же будет обвешивать покупателей, а отец Сергей — крестить и отпевать. И вряд ли кто-то вспомнит, что Ната Номарова была заботливой сестрой, которая хоть и отбирала у Ленки восковых человечков, но сквозь время застыдилась и набрала в церкви воска для нового; которая натирает братина водной, как видела на чужом примере; берет Ленины проделки на себя перед грозным и безголовым Босым. Какая память, если впору спиться или утопиться?

Главная проблема, затронутая в обеих книгах, — дискриминация. Водораздел между «своими» и «чужими»: между цыганами и венграми течет огромный метафорический Дунай, между поселковыми и городскими разливается река Оредерж. В отличие от цыганки Нати в венгерской школе, Ната Номарова хотя бы находится на своей территории, что дает ей сомнительное право кидать репьем в заносчивых снобов-городских, приехавших снимать дачи на лето. Она не в восторге от планов сестренки Ленки выйти замуж за городского: «Ному ты там нужна?», как будто каким-то образом прочитала книгу «На последней парте» и уже знает, что ждет неместную в городе, да еще и с ногами по колено в грязи. Все они, оредержские, презирают город, и это презрение — смесь страха и зависти. Зависти, потому что всем понятно, что там, куда увозит элентрична, — возможности. И не придется обдирать ножные цветочки с выходных туфель матери и «получать звону», и пряники там не лежалые. Страха, потому что уехавшие за Черту не возвращаются. У них там, в городе, семьи, дети, а навещать бабушку, работающую на железнодорожной станции, они как-то не спешат.

Мотив «чужой — значит, грязный» присутствует в обеих книгах. Тетя Бешне вряд ли является такой уж поборницей чистоты, какой она показана в книге глазами Нати, ненавидящей мыться: ее стремление к чистоплотности привычно и понятно любому городскому жителю, в то время как «детям улиц» это не кажется жизненной необходимостью. Так происходит не из любви к грязи, а из-за дискомфорта, причиняемого процессом мытья: в поселковых дворах стоят неудобные бочки с ледяной водой, окатывающие целином, и в сравнении с этой почти китайской «пытной водой» неудобства от знойного лета не кажутся такими нестерпимыми. О том, что такое теплая чистая ванна с пенящейся водой, эти девочки просто не знают. В их понятийном словаре такого нет. У Нати Номаровой нет желания уехать в город: ее даже на станцию влечет просто поглазеть, и не столько на товарняки, сколько на первую любовь — Максима; она понятия не имеет, что такое город и чем он хорош. Если бы кто-то привез

ее туда и показал, как там живут люди, она бы, возможно, имела цель. А сейчас лучше разглядывать мошек, бьющихся в окно, слушать, как воют выпи и волки, смотреть странные сны и не трогать вот это вот, городское, чужое. Костик с его дерматитом, неуклюжий и добрый, — чужой, едва ли не хуже Антона Босого и его банды, потому что второй хотя бы понятен и привычен, а этот — что если возьмет и увезет Ленну в город, а это все-таки сестра и все-таки, наверное, любимая. Просто слова «любовь» у Натки Номаровой тоже нет. Она выучила те параграфы для продвинутых учеников в школе жизни, что про несчастья, а добрые страницы были вырваны и пущены на самокрутки, только уже в другой книге — дедушкой Нати Ланатос. Наная разница, из наной песни эта строчка, если все равно эти слова были скурены и стали тяжелым воздухом?

Я не могла не спросить, знакома ли Анаит с творением Халаши. И, получив отрицательный ответ, не удивилась. Испытала чувство, схожее с тем, как если бы несколько раз ударила кулаком по стене, не причинив бетону ни малейшего вреда, бессильная что-то изменить. Действие «Поселка...» современно нам, хоть и происходит в конце 90-х: можем ли мы считать, что что-то изменилось сейчас, двадцать лет спустя, если в Венгрии уже писали об этом полвека назад? Как ни крути эту Землю, на ней везде живут такие Нати. Живут Олеси Ивановны, которые принимают своих Петров и Юриев всей душой, а те и рады пользоваться, а потом готовы окрестить шалавой, потому что женщина всегда везде виновата — от этого литература долго не избавится, феминизм еще не победил до конца. Живут отцы Сергии, которые найдут для всех правильные слова, а для своей жены не найдут, лишь машинально, автоматически погладят по голове, такой же рыжей, как и в юности. Жизнь «без»: дети без родителей (при живых родителях), сапожники без сапог, все — без денег, большой любви и надежды.

Незаслуженно забытая Мария Халаши могла бы встать в один ряд со знаменитыми писательницами Астрид Линдгрен, Туве Янссон и многими другими. Почему бы этот ряд не пополнить и Анаит Григорян, которая есть у нас сейчас и дышит с нами одним воздухом? Анаит пишет жизнь, о которой мы, преимущественно дети города, могли бы вообще никогда не узнать. Мы часто удивляемся, а почему у некоторых на страничках «ВН» такая вопиющая безграмотность. Что за треш происходит в приложении «ДругВоцруг», где алкоголички и зэки проводят прямые трансляции? Оттуда берутся провинциальные сверхпробивные личности, готовые идти по головам? Или, наоборот, утратившие ценностные ориентиры, погружающиеся в болото из собственной нереализованности люди? Все они родом из этого же безымянного поселка, который лишь на первый взгляд — неприметная точка на карте, у него даже имени нет, есть у соседних, чуть побольше: вот Суйда, вот Сусанин, вот Семрино. Да и имя главной героини возникает далеко не сразу: с первых страниц, когда она появляется на исповеди в церкви, читатель вообще не признает в Номаровой девочку. Она кажется смурной и грустной женщиной, сполна познавшей жизнь, и после таной «прививки» читателю не разглядеть в ней легконового и веселого подростка, коим она, возможно, никогда не являлась. «Раба Божия Енатерина», требует она, чтобы так к ней обращался сам Антон Босой. Мол, не властны надо мной ты и твои угрозы, только Богу я подчиняюсь, хотя вряд ли понимаю толком, что это такое или кто это такой.

В «Поселке...» нет ни положительных, ни отрицательных героев: плюсы и минусы, высыпавшиеся из мешочка личной истории каждого, ложатся так, что становятся звездочками. Каждый герой — «задача со звездочкой».

Даже не способный вызвать ни капли симпатии Антон Босой — не злодей, он всего лишь продукт этой фабрики, плод этого страшного сада. У поэта М. Недреновского есть строка: «Изделие спрашивает у мастера: зачем ты меня так сделал?» У него спросить: у пьющих или умерших родителей, у больной соседки, развешивающей трусы, или у попадьи, которая, наночнично, самый теплый человек — и с нестерпимой большой бедой, бесплодием и плохо выражаемой любовью мужа? Ответы на эти вопросы можно только выдумать, как отец Сергей выдумывает легенду, почему люди курят. Он и сам не знает. Слово Божие в книге — не абсолют и не способно исцелить ничьих мук. Не так важно, что за слова говорят, важно, кто их произносит. Оттого люди и стремятся в черновы: оттого, что верят. Но верят они не столько в Бога, сколько в человеческое к ним отношение.

Можно было бы сказать, что «Поселок...» — ренессанс деревенской прозы, и на этом остановиться, но нет. Это звание громкое, но ничего не объясняющее. Эта книга — не просто про деревню и то, как там живут, умирают, пьют и дерутся. Книга не для того, чтобы быть зрелищем под попкорн, это не смешно. Если Джордж Мартин через каждые несколько страниц убивает нового героя, то Анаит Григорян по кусочкам отрубает тебе веру в то, что «в деревне так хорошо жить, наверное». А потом ты вспоминаешь, что ты не Катя Комарова из поселка на реке Оредеж, и можешь максимум претендовать на роль Светки или Костина и не получить никакой серьезной травмы там, в поселке, кроме репья в волосы и задранного подола, и становится хорошо, как будто из ледяной речной воды миглом перемещаешься в теплую травяную ванну со свечами по бортику.

Как бы ни были похожи книжка-венгерка и книжка-петербурженка, дело не в одинаковом имени, возрасте и условиях, в которых живут их героини. Подобно родимым пятнам, по которым узнавали детей в старину, на обеих лежит грязь общества, в котором они живут; дискриминационные клейма, и это — то, что не смыть ни в каком тазу с мылом у тети Бешне, ни под какой бочкой с ледяной оредежской водой. Даже персонаж совершенно иной культуры, Иватани Наофуми из японского аниме-сериала «Восхождение Героя Щита» — дальний родственник этих девочек, на котором — пятна той же грязи. Это классическая история попаданца в иной мир, где героя сразу дискриминируют, потому что, пока остальные герои сражаются с нолюще-режущим оружием, у Наофуми есть щит и мировая несправедливость. Позже он, конечно, научится делать с щитом такое, что не подвластно ни копыю, ни мечу, ни луну. Дальнейшие отсылки к фэнтези уже недопустимы, потому что Натаи вышли из-под пера реалистов, и ничего, кроме грязных обкусанных ногтей, у них нет.

Когда-нибудь, через полвека, будет женщина, и она снова напишет про девочку Натю. Башкирская Натыра, корейская Ерин, испанская Наталина — да будет ли это важно, если речь идет об одной и той же девочке, меняющей национальность и место жительства, но не меняющей судьбу? И будет новый литературовед, который найдет эту статью, романы Халаши, Григорян и тот, свежий, и то ли с удивлением, то ли с ужасом поймет, что это сама жизнь пишет руками писательниц такой странной ретеллинг самой себя. Возможно, эта третья Катя будет жить в тайской плавучей деревне, мимо которой русские туристы, купив экскурсию по реке Нвай, так часто проезжают в красивых лодках. И она обязательно будет чем-то в кого-то нидаться. Не репьем, так дурианом. А может, сразу все поймет, прочитает эти две книги, испугается, будет изо всех сил учиться и поступит в Оксфорд, и все у нее будет хорошо, и выйдет из матрицы.